

Освобождение Агаты

Часть I

Чем русская женщина восхищает хоть сколько-нибудь западного мужчину – написано-перенаписано, спето-перепето. Но изумлять не перестает одним: нетребовательностью, граничащей с самоуничижением; на Руси принято называть это жертвенностью. Рассказы о жадных ухватистых тетках и появляться-то стали серьезно только в конце двадцатого века, когда вместе с модой на безопасный секс, пупочный пирсинг и баночные напитки пришла и мода на «спонсоров». Пришла, но, в общем, не задержалась, и средняя русская баба – как из самых маргинальных низов, так и на самой сливочной верхушке – все та же затираненная рабыня теремного образца. Не говорите мне ничего про деловую, самодостаточную, ворочающую полукриминальным капиталом: это где-то там, за пределами своего мраморного дворца, она чем-то ворочает, стучит холеным кулачком по столу или артистически матерится, а дома – все равно терпит и смиряется, имея одну сомнительную цель: лишь бы не бросил. Все, что угодно, лишь бы был свой мужик, желательно, муж. Пьет, бьет, помыкает, изгаляется? Ничего, никому: зачем сор из избы выносить? Наутро синяки замажет тональником, сверху припудрит и – на работу. Если спросят злорадники: «Что это у вас – никак, синяк под глазом?» – скажет, что упала и, как назло, прямо об угол стола; а если уж и зубов недостает, то – об батарею. Нет, конечно, закатит иногда доведенная до крайности русская женщина своему любимому неопасную истерику: «Негодяй, жизнь мою загубил!» – а все равно – самый любимый кусок мяса (варианты: огрызок, устрицу) – ему, драгоценному, потому что – добытчик. Неважно, что он уже года три ничего не добывает, а лежит поперек кровати и рассуждает о том, что в этой проклятой стране его гений не востребован темной толпой, а в цивилизованном обществе он давно бы уже купался в долларах – и, опять же, ничего не делал. Пусть она надрывается без выходных на трех работах, а на ночь берет домой переводы, все равно ему – лучшее. Зачем? – спросишь. А чтоб самоуважение не потерял, ответит. А то потеряет – хуже будет: запьет, начнет буяннить и руки распускать, вновь долдоня что-то про цивилизованное общество и про то, какой должна быть настоящая жена, напроочь забыв о том, что в том самом «цивилизованном обществе» настоящая жена этой стадии и не увидела бы, разведясь с мужем еще на первой и вскрыв его на такие сытные алименты, что работать бесценному гению все равно бы пришлось – чтоб за неуплату не сесть в тюрьму.

Вот точно так, хрестоматийно пробилась и я с двумя тесно следовавшими друг за дружкой гражданскими мужьями, каждый раз к моменту расставания не чувствуя уже ровно ничего, кроме облегчения. Потом, когда слышала от кого-то из женщин о разрыве, как о трагедии или крушении, – криво ухмылялась: да счастье это! Освобождение!

Есть еще одно расхожее мнение: русские женщины очень доступны. Заметьте, это снова мнение извне, из чуждой, сторонней культуры: русские мужчины, наоборот, порой долго удивляются, почему это бабу приходится так долго уламывать. Помню два случая – один собственный, другой рассказали.

Села я однажды в метро на конечной станции. Формы, так надежно в служилую бытность защищавшей от поползновений (кто посмеет задеть капитана милиции?) на мне, как и в большинстве случаев, не было, но собственная одежда нравилась: нарядный свитерок, брючки черненькие, туфельки замшевые, ладные такие... И в почти пустом вагоне уселся рядом со мной мужчина вида потрепанного интеллигента: древний свитер, брюки еще, наверное, отцовские, волосы немыты и нестрижены, сам небритый, припахивает недельным потом и никогда не стиранными носками, в доисторических очках и – венец всего – портфель-бегемот: не иначе, от научных книг так распух... Мне стало любопытно: неужели этот замухрышка подсел к нарядной ухоженной женщине,

чтобы познакомиться? Неужто рискнет, не застеняется? Потом устыдилась: нет, не может такого быть – настолько очевидна пропасть, лежащая между нами! Может, горе у человека, нужда, и, увидев располагающее лицо, несчастный хочет попросить помощи, денег... Ну что ж, дам, сколько смогу: видно же, что человек образованный, хоть и опустившийся.

- Вы на какой остановке выходите? – прозвучал вдруг властный, лишенный какого бы то ни было смущения голос.

И, не успела я перестроиться и переключиться на отпор, как сосед невозмутимо продолжил:

- Впрочем, какая разница. Я – на Пушкинской. Выходим вместе и идем ко мне, там рядом.

Деловое это предложение настолько меня озадачило, что я и слов не нашла – просто молча поднялась и двинулась прочь по проходу, одарив донжуана на прощанье диким взглядом. И что вы думаете? Отвергнутый любовник со своим ручным бегемотом вдруг преградил мне дорогу! Голосом, полным неподдельной обиды и праведного возмущения он не спросил, а спросил:

- А почему это, собственно, вы мне отказываете?!!

Второй случай из того же ряда и тоже очень иллюстративный. Захандрила как-то от неразрешимого одиночества сестра нашей секретарши – и бес попутал ее подать куда-то объявление о знакомстве. Объявление то я видела: за версту несло от него домашними пирогами с капустой, пирамидой подушек на пузатой кровати под кружевным покрывалом, выводком детей в платьицах и шортах – словом, всем тем, что обтекаемо называется в таких объявлениях «серьезными намерениями». Из всех четырехсот пятидесяти двух писем, пришедших на ее имя, завидная невеста выбрала самое приличное, снеслась с его автором по телефону и услышала вполне приятный голос мужчины. Вежливо пообщавшись, назначили первое свидание у памятника Екатерине Второй. Барышня перерыла весь свой гардероб, потом сестрин, потом подружкин, в последний момент все забрала и, прижимая к груди кошелек с кровной запиской, понеслась в бутик средней руки... К памятнику пришла, чувствуя себя равной, по меньшей мере, княгине Дашковой, вполне благосклонно взиравшей сверху, и стала оглядываться в поисках предполагаемого князя, обрисовавшего себя как «высокого, красивого, молодежь, артистичного». Она деликатно осматривалась, брезгливо сторонясь грязного и вонючего бомжа, путавшегося под ногами, вероятно, в поисках пустых бутылок или в надежде на жирный «бычок» – и в ужасе отпрянула, когда выяснилось, что это и есть ее вождельный князь. Опомившись, девушка взяла себя в руки, в то время как сердце затопила извечная жалость: «Без женской руки – так долго! Спасу! Отмою! Отогрею! С лица воды не пить!». Поэтому сердечно предложила:

- Ну что... э-э... прогуляемся? – и получила впечатляющий ответ:

- Зачем такие сложности, когда все равно одним кончится?

Пролепетала:

- Но ведь мы... Совсем друг друга не знаем... Как же можно... Так сразу...

Услышала:

- Зачем тогда объявление давали? Так и знал, что опять зря время потеряю! – жених круто развернулся и, не прощаясь, двинулся прочь, злобно бормоча на ходу: «Во, блин, бабы... Сами не знают, чего хотят... И то им не так, и это не эдак...».

Можете считать меня кем угодно – но и мне до тридцати шести лет цветов «просто так» не дарили. Тощий хвостик дежурных мимоз на Восьмое марта или – верх роскоши – метровая роза на день рождения – вот пики щедрости мужчин до появления в моей жизни Патрика, простого, собственно, английского «бобби», приехавшего к нам для «обмена опытом» на место нашего блатного Миши, благополучно отбившего в Лондон знакомиться с методами местной полиции. Дело это было для обеих сторон изначально бесперспективное: Патрик здесь мог только ужаснуться, а Миша там – хмыкнуть, ибо

методы взаимнонеприменяемы. Зато на первом нашем свидании Патрик стоял с букетом – нет, не с похоронным венком и не со свадебной охапкой – а с нормальным, милым, человеческим букетом, умело подобранным флористом. Я еще не была влюблена, и влюбляться не собиралась. Я вообще только хотела показать заморскому коллеге – такому располагающему! – открыточные красоты родного города и поговорить, возможно, о Бернсе, Моэме, Шекспире, недавно прочитанном романе Бэнкса – словом, доказать на деле, что по улицам у нас не ходят медведи, а русские женщины давно не носят кокошников и умеют издавать какие-то другие звуки, кроме «калинка-малинка». Но когда я увидела тот букет... Скромный, в общем, ни на что не претендующий... Говорите, говорите о доступности русских женщин! А вы представляете себе собаку, которую то пинали, то держали на цепи, наконец, выгнали – и опять пинали! И вдруг какой-то человек отнесся к ней просто – нормально: погладил по крутому лбу, протянул на ладони котлетку, а потом похлопал себя по бедру и позвал ласковым голосом: «Ну, Бобик, или как там тебя... Пойдем со мной, дурачок, пойдем, не обижу...». Может, он ее заманивает – на шаверму! Но разве предположит такое коварство бедная псина? Не пойдет – преданно потрусит сбоку, забегая вперед и заглядывая в глаза!

А женщина, привыкшая слышать на самую скромную просьбу ответ: «А ж... не слипнется?» – что должна она чувствовать, какую благодарность испытывать при виде – букета? Предназначенного ей – ни за что? Только зардеться и прошептать:

- Это мне? Какая прелесть... – и бери ее голыми руками.

Насчет медведей и кокошников очень красиво получилось. Едва мы с Патриком вышли на Дворцовую площадь и поравнялись с Александрийским столпом, как непосредственно из-за столпа вывернул нам навстречу медвежонок – как бы и не грудной, а упитанный, с богатой шкурой. Медвежонок имел намордник, ошейник с камушками, и шествовал на поводке, ведомый вальяжным молодым человеком в дорогих джинсах. Вокруг парочки вежливо скакали иностранцы с фотоаппаратами. «Вот! – торжественно скажут они по приезде домой. – Все правда! У них там действительно медведи ходят по центру Петербурга!». Я-то смекнула, что парень, видно, цирковой артист, любитель эпатировать публику, но Патрик, постеснявшийся при мне гнаться за уникальным кадром, проводил медведя таким жадным взглядом, что мне стало ясно: он надеется запечатлеть этот образ в своей потрясенной памяти...

- Что это было? – оторопело спросил он, когда хозяин и его питомец не спеша удалились по аллейке вдоль Адмиралтейства.

Я уже успела придать своему лицу равнодушно-скупающее выражение – мол, ничего особенного, медведи – дело обычное...

- Ах, это... Ну, человек выгуливает своего «пет»...

И в этот момент прямо перед нами остановился микроавтобус, и оттуда одна за другой повалили боярышни в разноцветных сарафанах и кокошниках – по всей видимости, приехал ансамбль песни и пляски, чтобы выступить на площади, как это часто бывает... Тут уж Патрик не выдержал – схватился за фотоаппарат! Но, поняв, что сей маленький спектакль разыгран для нас свыше не просто так, я повисла у англичанина на руке:

- Что вы! Что вы! Людям может не понравиться, что вы их фотографируете! Пришли себе погулять немножко по городу, а тут вы со своей камерой!

Потом я, конечно, все и объяснила, и рассказала, но Патрик так и остался мне благодарен за то, что я не лишила его первых естественных впечатлений...

И потекли романтические, заведомо ограниченные железным трехмесячным сроком наши встречи, во время которых попросту нечестно было бы говорить о любви – и его фраза на ломаном русском «Мнье карашо с тобой» прозвучала самым сокровенным признанием.

Но за все эти три месяца я так и не смогла полностью привыкнуть к тому, что к моему приходу Патрик тщательно прибирает свою квартирку (ему выделили, наскоро побелив потолок и переклеив обои, одну из конспиративных). Ведь раньше и всегда бывало

наоборот! Приходишь на долгожданное свидание к милому – и что тебя ждет, не ужин ли при свечах? Как бы не так: плесневеющая гора посуды в раковине, смердящие пепельницы по углам, урожай грязных носков под тахтой, застеленной чем-то серым, – и прочие приметы присутствия настоящего мужчины в его логове...

Я не позволяла себе увязнуть в новом чувстве безвозвратно, прекрасно зная и об его обреченности, и о напрасности последующих страданий, поэтому веселилась с Патриком почти от души, старательно не замечая непреложного хода часов... В начале осени – невразумительное прощание в Пулково-2 без обещания звонков и писем, силуэт уже навсегда чужого человека, исчезающего в недрах зала вылета, – и не успела я выйти с коллегами из здания аэропорта, как душу мою замутило от предощущения грядущей пустоты.

А на следующий день в образцовом нашем отделении возобновились смачные избиения задержанных, приостановленные было в присутствии Патрика, регулярные вечерние возлияния, когда возвращались с обходов, груженные данью из окрестных торговых точек, – и я поняла, что с этим этапом моей невзрачной жизни пора навсегда заканчивать. Опуститься до юридической конторы моя не полностью еще покрытая корой душа не позволила – и я, наконец, решила уйти на вольные хлеба: приняла давнее, регулярно повторявшееся предложение однокурсницы переделаться из оперативников в модные частные детективы.

К тому времени душа напоминала изрядно запущенный колодец – полувывсохший, со склизкими стенами и мутной пленкой на поверхности далекой черной воды.

* * *

Очень подходящая ночь – как специально нарисованная. Глухая стена ледяного позднеоктябрьского дождя. Ни человек, ни животное добровольно не покинет свою нору, если нет дела, которое нельзя отложить на потом. Но кто-то в черной куртке с поднятым капюшоном, в джинсах и высоких шнурованных ботинках имеет именно такое неотложное дело. Он быстро идет вдоль абсолютно пустой, почти захлебнувшейся водой улицы, неся в правой руке большую дорожную сумку – видно, что тяжелую, потому что иногда останавливается, ставит ее на мокрый асфальт и отдыхает минуточку-другую. Наконец, он сворачивает под едва заметную в свете дальнего фонаря арку и спешит во двор, стараясь держаться ближе к стенам. Там он наскоро оглядывается, убеждаясь в том, что дом намертво усыплен частым дождем, что ни одно окно не являет хищного желтого ока. Тогда человек неслышно устремляется к крайнему слева подъезду. Код не работает настолько давно, что уж и кнопки успели заржаветь. На секунду мелькает тусклый свет с лестницы, но почти сразу исчезает не только он, но и слабые проблески, идущие от лестничных окон: пришелец знает, что выключатель срезу же за входной дверью справа. В кромешной тьме он напряженно прислушивается, но напрасна эта предосторожность: слух его различает только равномерный, занудливый шум соучастника-дождя. Сдерживая дыхание, человек шагает наверх, ступая почти абсолютно неслышно – и так достигает площадки пятого, верхнего этажа. На ней только одна квартира, что сегодня имеет свое особое значение: благодаря этому обстоятельству, не пострадает никто невиновный... По-хорошему, следовало бы залезть на чердак и убедиться, что там не заночевал бездомный скиталец, но, когда пришедший достает из кармана фонарик и направляет голубоватый острый луч на чердачную дверь, то издает вздох успокоенной совести: чердак заперт на внушительный амбарный замок и опечатан, причем видно, что печать побледнела от времени. Стало быть, на чердаке никого нет, и только тот, кому предназначено, получит этой ночью по заслугам. Ибо человек пришел отомстить.

Он много раз отрепетировал свои действия, поэтому его движения теперь четки и отлажены. В самом деле, как глупо было бы, теоретически продумав свое идеальное преступление, позорно сплеховать теперь в мелочи, провалив все дело на корню! Но нет,

он много раз проверял и точно знает, что крючок, приклеенный именно этим клеем у входной двери, выдержит вес пять килограммов – а большего и не требуется. Нужно только подождать три минуты, чтобы клей успел затвердеть до каменности, но и это время уже расписано. Фонарь следует положить на подоконник – так, чтобы светил на сумку. Сумку открыть – там другая, матерчатая, что как раз и содержит в себе груз, весящий пять килограммов: это перевернутая горлом вниз пластиковая бутылка из-под питьевой воды. Горло просунуто в небольшое отверстие в дне сумки. Крышка намертво привинчена, и в нее вставлена медицинская капельница. Запах сразу же выдает, что бутылка наполнена бензином – и человек невольно морщится, продолжая, тем не менее, заниматься своим делом. Три минуты миновали, и крюк можно смело использовать. Сначала проверив его на прочность рукой в перчатке, человек осторожно поднимает сумку с бутылкой и вешает ее на крюк так, что горло бутылки смотрит вниз. Теперь главное – не засуетиться. Он осторожно поднимает с пола уже легкую дорожную сумку и закидывает ее за плечо, потом берет фонарик и направляет его на одну из двух замочных скважин в массивной, абсолютно неприступной железной двери, окрашенной в грозный черный цвет. Эта замочная скважина отличается от другой тем, что она сквозная. Если бы там, за дверью, горел сейчас свет, то в двери сияла бы маленькая золотая дырочка. От горла бутылки вниз тянется пластиковая трубка перекрытой до поры до времени капельницы. Она недавно чуть модернизирована: игла заменена очень толстой и длинной, дающей широкую, мощную струю. Очень осторожно мститель внедряет иглу в скважину до основания и знает, что конец ее теперь выдвигается с другой стороны примерно на сантиметр, и струйка превратится внутри квартиры в лужицу, потом в ручеек – и весело побежит по слегка наклонному полу коридора, столкнется со стопкой газет у противоположной стены... Осталось только повернуть колесико у капельницы – и человек, поколебавшись в последней муке не более десяти секунд, решительно делает это. Трубка моментально наполняется жизнью, и человек выключает фонарик. Затем он достает из кармана телефон и сверяется со временем: начало третьего; он провел здесь не более шести минут. Время точно рассчитано. В течение двух часов бензин будет вытекать из бутылки по трубке, но присутствовать при этом чревато нежелательными встречами. Мститель снова включает фонарик, направляя его свет вниз: невероятно смешно было бы в темноте упасть с лестницы и переломать кости – именно здесь и сейчас! Он спускается очень осторожно, внимательно глядя себе под ноги на гладкие столетние ступени...

Через два с лишним часа он опять здесь. Первым делом трогает висящий мешок – тот уже совсем легкий! Он быстро снимает сумку с пустой бутылкой с крючка, не забыв перед этим перекрыть трубку капельницы, и вынимает иглу из замочной скважины. Чувствуя, что руки начинают предательски дрожать, он лихорадочно засовывает все это в свой дорожный баул, путаясь с молнией, в которую все время попадает кусочек ткани от матерчатой сумки. Крючок теперь неотделим от стены – но это не улика: такие продаются в любом магазине из тех, где можно купить какие угодно средства и приспособления для комфортной жизни – и идеальных преступлений.

И приходит то, что у летчиков называется скоростью принятия решения. В эту секунду еще можно повернуть все вспять, еще есть возврат, еще не все фатально! Что, собственно, имеется в данную секунду? Только лужа бензина в коридоре редакции газеты «Взгляд со стороны». Ничего непоправимого. Можно отправиться домой, где, пожалуй, и не заметили, что он выходил ночью, а утром в редакции только и будет разговоров о том, откуда на полу взялось столько бензина. Обнаружат ли вообще когда-нибудь крюк у косяка двери – это еще большой вопрос... Но стоявший под дверью человек все-таки достает из кармана зажигалку и несколько длинных, сухих и тонких палочек. Скорость принятия решения превышена, и остается только отчаянный взлет. Преступник методично поджигает соломки одну за другой, легко проталкивая их в замочную скважину. Они летят вниз, горя, и планируют прямо в бензиновую лужицу – наверно, хватило бы и первой, потому что ему сразу показалось, что в скважине что-то полыхнуло.

...Вниз он бежал, не соблюдая ни осторожности, ни конспирации. Во дворе нашел в себе силы задержаться и глянуть вверх, на те окна, где горело дело жизни человека, безмятежно улетевшего сегодня в Прагу на конференцию. Тот факт, что человек улетел, мститель проверил лично, зафиксировав, как *тот* приблизился с билетом к стойке регистрации. Его *та* не провожала. Странно, но какая разница... В окнах на пятом этаже мелькал переменчивый свет, и человек знал, что там, в коридоре, уже разгорелся бурный огонь, вплотную подступил к двери общей комнаты сотрудников – с компьютерами, мебелью, всеми материалами и половиной тиража предыдущего номера. Месть удалась, и он мог вернуться домой и спать, если получится. Спать нервным, полным неясных мрачных видений сном. Он четко увидел, что отблески в окнах стали ярче.

Человек, стремглав несшийся в пятом часу непроглядного октябрьского утра по мертвой улице к оставленной за квартал машине, не знал о том, что происходило в ненавистном помещении редакции накануне, около десяти часов вечера. А в то время в кабинете главного редактора еженедельника находились двое. Один из них и был хозяином – некрасивый, полноватый и лысоватый мужчина «за сорок», с художественным лоском одетый в мягкую велюровую рубашу навывпуск. Это только на самый первый, даже на поверхностный взгляд, он был некрасив – и только. Для того, кто решил бы поглядеть на него хоть на десять секунд дольше, стало бы ясно, что с этой некрасивостью все не так просто. А уж человек внимательный не мог бы не заметить непринужденной, мягкой грации его движений, не передаваемой словами особенности повадки... Женщина сказала бы точнее: в этом человеке есть свой шарм – причем, такой, которому внешняя красота, пожалуй, и помешала бы. Немного робкая, даже как будто чуть виноватая, почти мальчишеская улыбка с где-то очень глубоко спрятанным шкодливым изгибом довершала впечатление. Мужчина стоял на коленях около дивана, где лежала девушка не более двадцати лет на вид. В данный момент красотой отличались только ее изумительные волосы – естественно светлого цвета, матерью-природой закрученные в упругие крупные локоны. Лицо ее без всякой косметики выглядело иссера-бледным, глаза слезились, нос недвусмысленно покраснел и распух; девушка не выпускала из рук насквозь мокрый носовой платок, без конца утираясь им, отчего под носом у нее давно появилось огненное пятно. Вот уже второй день Лилю терзал беспощадный грипп, пришедший в этом году в город непредвиденно рано. Мужчина, по-видимому, не боялся злобных бацилл: он положил голову на руки прямо у подушки, рядом с изможденным лицом любимой девушки, и мягко уговаривал ее, пустив в ход все переливы своего богатого, глубокого голоса:

- Ну, возьми себя в руки... Сделай одно только усилие... Регистрация через час закончится, и начнется то, чего я очень не люблю...

- Ты, прежде всего, не любишь меня, Олег, – раздраженным насморчным голосом отвечала Лиля. – Ты что, не видишь, в каком я состоянии? Температура, наверно, под сорок, а ты гонишь меня под дождь – и для чего? Чтобы успеть на какой-то там дурацкий самолет...

- Я гоню тебя не под дождь, а в теплую уютную машину, чтобы через четверть часа ты оказалась у себя дома, с мамой, которая стала бы тебя лечить и баловать... А там и я бы вернулся, и ты встретила бы меня здоровенькой и веселой... – терпеливо, по-котовьи, ворковал Олег; их роман находился еще в той стадии, когда мужскому раздражению нет места ни в какой ситуации.

- Да мать только и умеет, что мне на нервы действовать, – пробубнила Лиля сквозь платок. – Да пойми ты, ради Бога, что дома мне только хуже станет! И вообще, почему ты так против того, чтобы я осталась здесь?

- Дурёшка... – ласково дудел он. – Да потому, что завтра утром придут сотрудники и увидят...

- Что я раньше всех пришла на работу, – закончила девушка, отворачиваясь. – И, кроме того, раз ты улетел в идиотскую Прагу, они вообще не придут. Или, разве, часам к двум... Ну, не могу я сейчас никуда ехать, понимаешь?! Не могу – и все тут...

У Олега, собственно, было два пути, потому что он прекрасно понимал, что самолет его дожидаться не собирается. Во-первых, он мог отвесить упрямыце хорошую оплеуху, тем согнать ее с дивана – и покончить на этом с собственной последней, как он был уверен, любовью. Второй путь был – позорное отступление, но это противоречило жизненным принципам Олега: ласками или угрозой, подарками или побоями – но всегда и ото всех привык он добиваться игры по его правилам, даже в мелочах. Встала дурная дилемма: или дать слабину, или лишиться того, чего не хотелось лишиться. Он думал ровно минуту в таком ключе: двадцать четыре года разницы; красавица; дураков найдет себе еще и покрасивше, и помоложе, и поденжней – а я буду обречен на перезрелых теток, склонных к приключениям или полноте; вернуться к Агате? – после того, что было... теперь – никогда; ладно, дам задний ход – все равно, когда закреплюсь – например, обрюхачу... будет время отыграться...

- Хорошо, Лилия моя... Пусть по-твоему, девочка... Удобно тебе так?

Ей, конечно, было удобно на мягком кожаном диване, завернутой в шелковистый плюшевый плед. Олег потрогал Лиле лоб и на самом деле заволновался: ему стало очевидно, что девушка не капризничает:

- Черт, лекарств бы каких... Времени нет в аптеку...

- В сумке моей, там... – сквозь гриппозную дрему отозвалась Лилия. – Антигриппина дай порошок, и еще полосатая коробочка такая... Снотворное... Проглочу сразу две – и пусть болеть буду во сне... – она улыбнулась так трогательно, что Олег не удержался и наклонился к ней с поцелуем.

Он выключил телефон, свет, ее мобильник: пусть действительно выспится, ребенок ведь, в сущности... У него дочь ей ровесница. На прощанье коснулся губами горячего лба – и вышел.

* * *

Мама очень любила свою маленькую дочку Агату и уделяла ей столько материнского внимания, сколько не получает большинство детей, будучи при живых родителях предоставленными самим себе – под благовидным прикрытием детсадов и продленок. Двадцатипятилетняя учительница Женя родила дочь в коротком необременительном браке, в глубине души отдавая себе отчет, что и замуж-то выходила для того, чтобы неосужденно родить ребенка, желательно, девочку, и воспитать ее для себя, по себе, маминой подружкой и вторым ее маленьким «я». К браку как таковому Женя чувствовала не особенно тщательно скрываемое отвращение, определяя свое чувство фразой: «Это надо было перетерпеть» – как детскую болезнь или регулярное женское недомогание. Незаметно она перенесла те же критерии на воспитание девочки Агаты, поначалу ангелоподобному ребенку, порхавшему по квартире в лентах и кружевах. Постепенно, по мере возрастания дочери, из лексикона Жени (мало-помалу превращавшейся в Евгению Иннокентьевну) стали исчезать слова «я» и «она», когда речь заходила об их маленькой семье. Женя неосознанно заменяла их универсальным «мы» – и настолько с этим местоимением сроднилась, что произнести: «Я люблю корзиночки, а Агата – эклеры» становилось с годами все невозможнее, и Евгения говорила: «Мы любим корзиночки», – и только они покупались к чаю, а Агатиная любовь к эклерам растворялась в огромной материнской любви к дочери.

Вдохновенно преподавая русский и литературу в средней школе, Евгения Иннокентьевна, само собой разумеется, с младых ногтей приохотила юную Агату к чтению – и не какому-нибудь там бессистемному и хаотическому, а строго определенному: предполагаемое к прочтению произведение заранее преподносилось

образованной матерью в определенном ключе, ненавязчиво готовилась правильная почва для восприятия. После того, как дочь прочитывала книгу, Евгения обязательно находила время подробно обсудить ее, добиваясь максимального осмысления и нежно настаивая на своем, если девочка вдруг осмысливала что-то не по-матерински. Суждения Агаты, правда, иногда шокировали мать, но она списывала их на неизбежное влияние разношерстного школьного коллектива. Очень неприятно поразило ее однажды высказывание дочери о самоотверженном подвиге Татьяны Лариной:

- Мама, она, по-моему, просто дура.

Евгения вспыхнула:

- Во-первых, мы давно договорились, что не произносим вслух – и, желательно, про себя – таких вульгарных слов... – (Это было маленькой педагогической ложью: ни о чем таком они не договаривались, а просто мама однажды ненавязчиво намекнула дочке на то, что «в нашем доме такие высказывания не приняты»; к слову сказать, кроме них двоих, в их доме никого не было). – А во вторых, все-таки объясни, пожалуйста, почему ты считаешь Татьяну... неумной?

- А зачем она из глупой гордости и себе, и Онегину жизнь испортила? – задал долгоногий подросток закономерный вопрос.

- Ну, ведь он сам от нее вначале отказался – и так жестоко! – парировала мать очевидной ей сентенцией.

- А, по-моему – так не жестоко, а очень даже порядочно! Мог ведь взять – да и... Как ты это называешь... воспользоваться... Тем более, что она ему сама написала: «Я твоя». А он честно поступил: не понравилась ему девушка – так и сказал, причем, вежливо, не обидел...

- И все-таки жестоко. Представь себе: девушка, юная, переступает через себя, признается в любви... В те времена это было – знаешь чем?! А он в ответ – назидание. Ну, разве не жестоко? – потихоньку гнула свою линию Евгения.

- Ну, не нравилась она ему! Что он, должен был на ней жениться? А потом, когда повзрослела и похорошела, – понравилась. Сначала ошибся человек, не разглядел... Что, не имеет он права на ошибку?

«Конечно, не имеет!» – так и захотелось воскликнуть Евгении, потому что она признавала только жизнь по высокому счету, не допускающему никаких сбоев. И вообще, ее больно кольнуло то, что малолетняя Агата встала на защиту мужчины – то есть изначально потенциального делателя зла молодым девушкам. Но говорить обо всем этом было бы и непедagogично, и преждевременно, поэтому Евгения спокойно, как на уроке, разъяснила:

- Его ошибка, тем не менее, имела свои последствия. Непоправимые последствия. Татьяна вышла за другого, и Онегин больше не имел никаких прав ни на какие признания. Он безвозвратно упустил свой шанс и...

- А, ерунда... – с неожиданным легкомыслием перебил ребенок. – Она его все это время любила, он тоже понял, что любит, – так отчего бы им не пожениться?

- И разбить сердце ни в чем не повинному князю, мужу Татьяны? – кинула последний грозный козырь Евгения.

- Сам был бы виноват! Нечего было на молоденькой жениться, раз старик! – страстно, как о чем-то выстраданном, прокричала дочь. – Это он ей жизнь загубил тем, что женился, эгоист! Он только себе счастья хотел, иначе понимал бы, что ее счастья не составит! И если б Татьяна ушла к Онегину, вот ни на столечко бы этого генерала не жалко!

Евгения была поражена. «Что я упустила в ее воспитании?» – ожгла быстрая мысль. Она едва сохранила спокойный тон:

- Ну, а ты... Что бы ты сделала в такой ситуации?

- О, я... – и на розовом личике девочки мелькнула вдруг мечтательно-злая полуулыбка. – Уж я бы не стала мучиться с противным старикашкой, если б тот, кого я годы любила, пришел и позвал меня! Я бы ушла с ним и узнала, что такое настоящее счастье, я бы...

- Подожди! – перебила мать, забыв уже об изначальной литературности спора и думая лишь о том, что перед ней – девочка, в которой готова сформироваться сомнительная установка. – Подожди! А если бы у него, Онегина, это оказалось мимолетным порывом? Если бы через месяц этот порыв прошел, и он снова превратился бы в скучающего циника, а Татьяна бы всю жизнь разрушила, свою и мужа?

- Зато этот месяц – один месяц! – своей жизни она была бы по-настоящему счастлива. А так – не была счастлива вообще никогда, – убежденно провозгласила дочь.

Евгения прочла целую лекцию. О долге, о совести, о чести, о жертвенности. О том, какими обязаны быть порядочные люди. О том, во что превратится мир, если каждый будет делать то, что захочет. Она говорила красиво, убедительно, напористо – и сумела пристыдить не вставшую еще, но уже глянувшую на скользкую дорожку юную душу. Наконец, сочла возможным риторически спросить:

- Ну, теперь ты со мной согласна? Убедила я тебя? – и услышала то, что ожидала:

- Согласна, мама, – а торжества не было: дело в том, что Евгения не сумела убедить лично себя.

Ребенок еще полностью находился во власти непоколебимого родительского авторитета, но как ответить самой себе на вопрос: а зачем все это – долг, честь, совесть, жертвенность, когда жизнь проходит мимо, верней, протекает серым ручейком, – и не послать ли... подальше... всю эту жертвенность вместе с честью ради одного, но ослепительного месяца, или даже только часа – но абсолютного счастья? Как просто было раньше, когда верили в Бога! Можно было бы ответить: эта жизнь здесь – ни серая, ни черная – ничего не значит. А значит только жизнь – вечная, и это ради нее не ушла Татьяна за Онегиным... Потому что Бога боялась и вечности хотела – светлой, куда бы не пришла с ним... Но такого не скажешь ведь ребенку, да и самой себе поостережешься – а вот поди ты! Без этого все самые высокие, самые чистые и прекрасные поступки теряют смысл.

Поразмышляла обо всем этом сорокалетняя Евгения Иннокентьевна – да и отложила мысли такие в сторону: живем сейчас, исходить надо из сегодняшних реалий и воспитывать детей для завтрашнего дня и самостоятельной жизни... Самостоятельной? Евгения вздрогнула. Нет, в таком обществе, где того и гляди рухнут все устои, если уж и самое святое и чистое – образ Татьяны Лариной! – можно дерзнуть опорочить... Нет уж, полной самостоятельности в таком мире неопытным душам лучше не надо... Да ничего, это ведь подростковый возраст... При правильном руководстве гладко минует период ершистости, и вернется дочка к маме, в их уютное «мы»...

- Мы ходим в Капеллу по абонементу – там так хорошо!

- Мы любим проводить лето только в средней полосе России – так здоровее!

- У нас особый круг друзей, избранный; мы никогда не приглашаем на наши праздники молодежь – она теперь такая разнузданная!

- В нашем доме терпеть не могут грязи, которую разносят всякие животные!

- Нам не нужно в квартире никаких мужских носков!

Не научившись познавать физическую радость от любви, Евгения инстинктивно представляла мужчин носителями низменных инстинктов, на все готовых ради их удовлетворения, и невольно прививала дочери взгляд на взрослого мужчину как на возможного насильника, а на юношу – как на соблазнителя, который обязательно «попользуется», а потом «бросит девушку наедине с ее горем».

Какого будущего хотела она для Агаты? О, самого идеального. Лучше бы, конечно, обойтись безо всяких мужчин – но как тогда быть с внуками? Уж очень хотелось Евгении на склоне дней поагукать над еще одной кудрявой головкой, позаплетать косички, покатавать нарядную колясочку... Да и комплекс старой девы может развиваться, если вообще без мужчины... Значит, придется Агаточке это перетерпеть – что поделаешь.

Иногда, перед самым засыпанием, когда Евгения, угревшись и унежившись в постели, позволяла себе помечтать, вставала перед ее внутренним взором мирная картина домашнего счастья.

Вечер. На улице суровая зима, завывает метель, а в их квартирке тепло и уютно. Чуть постаревшая, но очень благородно выглядящая, с тяжелым узлом немного поседевших волос, Евгения Иннокентьевна сидит за круглым столом, покрытым нарядной тканой скатертью, под круглым матерчатым абажуром. Напротив нее – вполне взрослая, очень милая Агата, тоже гладко причесанная, в аккуратной домашней блузочке с кружевным воротничком. Обе женщины проверяют тетради, время от времени зачитывая друг другу ученические перлы. «Мама! – задорно восклицает Агата. – Ты только послушай, что Иванов пишет: "Конь под Печориным пал и громко зарыдал на всю степь"», – и обе они, мать и дочь, от души смеются. На столе дымятся чашки с чаем, красуются вазочки с разными сортами домашнего варенья, в хрустальной конфетнице – аппетитное печенье собственноручной Агагиной выпечки... Рядом со взрослым столом – столик поменьше. За ним, склоняя очаровательную головку то на один бок, то на другой и высунув от напряжения розовый, как у котенка, язычок, рисует семилетняя девочка: «Вот это мамуля, вот это бабуля, вот это наша дача, вот это солнышко светит, а вот это, с цветочком в руке, – я стою». Откуда взялась внучка – это Евгения Иннокентьевна уже придумала: Агата недолго пробыла замужем, муж стал плохо относиться к ней и ребенку, она развелась, навсегда разочаровавшись в браке и мужчинах, и вернулась с маленькой доченькой под надежное мамино крыло. Теперь она, как и ее мать когда-то, посвятит себя воспитанию малышки Эльвиры... или Элеоноры... Нет, пусть лучше Эльвиры, Элеонора слишком длинно... Красивое имя, а то всякие там Даши, Маши, Наташи... Простецки как-то... Да, так вот... «Элечка, ты хорошо выучила стихотворение, которое вам задала учительница?» – с любовной строгостью спрашивает бабушка. «Конечно, бабулечка! – с радостной готовностью лепечет девочка и сразу же начинает нараспев: – На прививку, первый класс! /Вы слышали – это нас! /Я укол не боюсь!/Если надо, уколюсь...» – И Агата тоже, оторвавшись на минутку от очередного сочинения, с умилением смотрит на маленькую старательную дочку, периодически горделиво переглядываясь с собственной матерью: вот какую красавицу и умницу они вырастили совместными усилиями!

Очень долго в этом предсонном видении мелькала и огромная пушистая кошка, мирно свернувшаяся клубком на стуле, и Евгения всякий раз прилагала специальное усилие для того, чтобы в своей картинке заменить кошку подушкой: микробы все-таки, а в доме ребенок! Но каждый вечер, стоило только мечтательнице закрыть глаза и вызвать перед внутренним взором любимую сцену из будущего, как кошка упорно возвращалась на свое место, иногда даже нагло приоткрывая огромный янтарный глаз, – и Евгения мысленно махнула рукой, оставив кошку как символ уюта: не обязательно же тащить ее потом в грядущую реальность!

Но пробуждения со временем все реже и реже радовали Евгению Иннокентьевну. Первой бомбой стала обновка, купленная дочкой самостоятельно на деньги, полученные за летнюю школьную практику после девятого класса. Не спросив у матери, Агата сговорила с девочкой, чьи родители имели доступ в «Березку», и приобрела чеки по спекулятивной цене. Вскоре она вертелась дома у зеркала в платье... мандаринового цвета! И в таких же босоножках! Хуже того, у другой подружки девчонка выпросила грубую бижутерию – бусы и браслет «под янтарь» в сочетании с аляповатыми металлическими бляшками. И это после того, как они решили, что вместе поедут в Дом тканей, выберут отрез легкого шелка или крепдешина с нежным девичьим рисунком и торжественно отправятся с ним в ателье, где и закажут для Агаги первое «настоящее» платье: так, чтобы основательно, с подробными размерами, с примерками, с ее материнским любованием своим начинающим оперяться птенчиком, смущенно застывшим среди «взрослых» зеркал...

- Что это... – пролепетала оторопевшая Евгения. – Что это за... новогодняя игрушка... – и взяла себя в руки: – Не узнаю тебя, Агата. С каких это пор в нашем доме наряжаются в костюмы... уличных девиц?

- Ничего не уличных! – вспыхнула дочь. – Просто у меня свой вкус, вот и все! Почему я все время должна одеваться так, как нравится тебе? Почему я не могу на собственные деньги купить что-то по своему вкусу?

Тут уж вспыхнула Евгения:

- Не выдумывай! Во-первых, какой еще «свой вкус»?! Нет никакого «своего» вкуса, а есть хороший вкус и дурной! А во-вторых, какие такие «свои» деньги?! Пока тебе пятнадцать лет, изволь советоваться со мной относительно любых поступков! Любых! Тем более что эти «свои» деньги ты только что выкинула абсолютно напрасно: ты ведь не можешь рассчитывать, что я выпущу свою дочь из дома, одетую, как огородное пугало?

Было много обоюдных горьких слов и слез с последующим бурным примирением. В сотый раз повторила Евгения дочери общеизвестные постулаты о том, что лучшее украшение девушки – это скромность и нежность; что платье или блузка должны иметь благородный цвет – жемчужно серый, кремовый, топленого молока, – а в торжественных случаях возможен салатный, небесно-голубой, коралловый; что когда девушка из хорошей семьи хочет как-то украсить себя, то единственно позволительное для нее – это надеть на свою стройную шейку тоненькую цепочку и скромные часики на хрупкое запястье; что, наконец, в одежде, подобной купленной сегодня, Агата сразу начинает походить на Катерину – а ниже этого уж и падать некуда. Голос матери звенел от горя, что у нее растет такая никудышная дочь; в глазах, светло-голубых до прозрачности, стояли святые серебряные слезы – Агата, разумеется, не могла выдержать такого натиска, и, кроме того, ее обидно задело сравнение с проклятой Катериной. Рыдая, девочка кинулась во всепрощающие материнские объятия.

Катерина была одной из воспитательных плеток, которыми пользовалась Евгения Иннокентьевна в тех редких случаях, когда политику пряника считала необходимым переменить на кнут. Речь шла о родной сестре Агатиного отца, не пытавшегося, к счастью, увидеть брошенную им дочку и в добровольно-принудительном порядке платившего алименты небольшие, но достаточные для покупки то недорогого велосипеда, то не шикарного, но милого пальто. Старшая его сестра Катя казалась молодой Женечке воплощением того, как не надо жить. Прежде всего, она не ходила на работу, как это делают все порядочные люди на свете, а у себя дома, отоспавшись как следует и наложив на щеки изрядное количество польского крема, за которым у нее всегда было время съездить в «Ванду», посвящала два-три часа изготовлению уродливых, по мнению Жени, кукол, коих потом развозила по художественным салонам, где имелись у прониры хорошие связи. В результате того, что темные, неразвитые люди зачем-то тратили свои деньги на покупку этих пошлых поделок, Катерина выручала в месяц сумму, на порядок превосходившую ту, что получала в кассе честная трудолюбивая учительница – при полной нагрузке и с доплатой за ночную проверку тетрадей и подневольное классное руководство. Кроме того, Катерина состояла в третьем законном браке, имея возраст всего около двадцати восьми лет, что доказывало ее позорную внутреннюю и телесную зависимость от мужчин и не могло не вызывать Женечкиного презрения.

Внешний вид золовки наводил ужас и переворачивал все человеческие представления об элементарных приличиях: то цитрусовое платье, притащенное наивным ребенком из «Березки», как раз и было в ее духе, как и разные – красные, бирюзовые и даже золотые! – кушаки, туфли, яркие платки, обернутые вокруг бедер, полукилограммовые кольца в ушах и десятки браслетов, перстней, висюлек... Невероятно странно – но такая опереточная внешность не отталкивала от Катерины мужчин, а, наоборот, притягивала, как мошкарку на ночник. «Это потому, что, несмотря на ее замужнее состояние, они чувствуют в ней даму легкого поведения», – решила для себя Женья.

Для полного завершения «образа врага», хотелось бы ей, конечно, видеть Катерину легкомысленной вертушкой, помешанной на безвкусных тряпках и побрякушках, неспособной и двух слов связать. Но, к сожалению, в этой области вышла обидная неувязочка: родственница блистала не только нарядами, но и умом, и отрицать это означало бы показать себя ограниченной невеждой. Катерина непринужденно изъяснялась на английском и французском, едва ли не наизусть знала классику, включая сюда и ту самую сложную часть Достоевского, которую не осилила даже Женя, и вполне здраво судила о любом доступном современном произведении, зарубежном или отечественном. Обиднее всего было то, что учитель литературы Евгения Иннокентьевна подчас пасовала в споре с ней – и тем меньше импонировала ей Катерина со своим насмешливым резвым умом, спорными, но интересными суждениями, цепким летучим взглядом иссиня-серых, завидными ресницами затененных глаз...

Обо всех этих своих смущениях Евгения, конечно, не распространялась при дочери, лишь обрисовав ей клоунские одежды и манеры тети, а самобытность ее натуры невольно представив в рассказах как непозволительную распущенность, граничащую с аморальностью. Сравнение с Катериной со временем стало высшей педагогической мерой наказания – вроде пощечины, призванной немедленно привести дочь в чувство.

- Ну, вылитая Катерина! Вот они, гены! – с почти натуральным ужасом восклицала Евгения, когда слышала в интонации растущей Агаты железные нотки самоуверенности или замечала ее слишком пристальный взгляд на алые перчатки, выставленные в витрине, – и девочка немедленно съеживалась, как от удара: в сознании ее давно прочно засела уверенность, что тетя Катя, общения с которой до сих пор так счастливо удавалось избегать, – сущее чудовище, сравнение с которым является горьким оскорблением.

Нет! Евгении удастся воспитать дочь таким образом, что она станет испытывать отвращение к подобным людям и образу жизни. Девочка вырастет скромной, трудолюбивой и почтительной, окончит педагогический институт, как и мама, благо литературные способности унаследовала неплохие, а там можно будет подумать и о том, чтобы исподволь подтолкнуть ее к браку с приличным юношей, сыном кого-нибудь из проверенных подруг. Вот, например, Юра, Валин сын, – чуть Агаточки постарше, симпатичный, положительный, поступил в Корабелку, молчун, учится хорошо, по дискотекам не носится... Ну, да это рано, это мы еще решим, а сейчас нам бы только подростковый возраст благополучно проскочить...

Некоторые рычаги безотказного управления дочерью Евгения уже нащупала – и тактично, в меру, пользовалась ими, не пережидая, но и руку держа всегда на пульсе.

Одним из таких рычагов было слово «фантазия» – под него легко списывались все девичьи взрывы, потому что шли они, конечно, от мечтательности, свойственной юности в целом.

- Когда я вырасту и закончу институт, – философствовала Агата за вечерним чаем, изначально предназначенным ее матерью для ненавязчивой инспекции и коррекции дочернего внутреннего мира, – я поселюсь отдельно от тебя: ну, сначала сниму комнату, а потом видно будет, может быть, удастся вступить в кооператив... И заведу себе кошку... нет, кота... нет, двух, чтобы они мне мурлыкали и чтобы их гладить. А спать я буду не на тахте, как сейчас, а куплю себе такой большой широкий матрац – и положу его прямо на пол, застелю плюшевым покрывалом под леопарда! А еще у меня будет такой низенький-низенький столик для кофе, а на нем – такие крошечные чашечки с блюдечками... И вообще, я накоплю много всяких фигурок, вазочек и расставлю их по маленьким черным полочкам, которые развешу лесенками... Книги? А книги у меня будут лежать просто на полу, стопками... То есть, на ковре. Потому что у меня будет такой огромный – во всю комнату! – ковер, пушистый, так что я по дому буду ходить только босиком... И еще, я подстригу волосы до плеч и сделаю шестимесячную завивку, буду ее закручивать в крупные локоны – и так ходить, как Алфёрова в «Трех мушкетерах» только короче... Да, еще у меня будет большой трельяж – такой, знаешь, с тремя зеркалами, полированный, в

нем – много-много ящичков, а в них всякие украшения, и коробочки, и... – и в целом картина вырисовывалась такая тошнотворная, что Евгении снова и снова хотелось выкрикнуть: «Ну, вылитая Катерина!» – но она сдерживалась, не желая ранить фантазирующего ребенка, в упоении мечты позабывшего, что на картине, изображающей идеальное бытие, щедрыми мазками пишет как раз тот образ, который давно является вечерней страшилкой. И Евгения бралась за проверенный рычаг:

- Какая же ты фантазерка! Надо же, какая у тебя развитая фантазия! – ибо важным было соединить все эти негативные образы с ощущением их нереальности, чтобы фантазия однажды не перешла в цель, стремление к которой перебить будет уже труднее.

Наступали новые дни, мчались месяцы, подбираясь к выпускному балу и неся с собой новые огорчения. Совершенно определенно стала, например, замечать Евгения, что даже сам внешний облик взрослеющей дочери начинает пугающе напоминать черты той, вычеркнутой семьи. Откуда-то появились вдруг на лице девочки почти Катеринины пухлые до развратности губы, заменив собой аристократически строгий рот материнской породы, округлилось и само личико, заиграв простонародным румянцем вместо сдержанной матовости, тело по мере созревания превращалось не в хрупкое девичье, а сразу в призывно женское, с вызывающими округлостями. Все это несказанно огорчало Евгению, потому что вместо невинно-молочного козленочка, каким мечтала мать видеть дочку в раннем девичестве, рядом с ней в квартире незаметно оказалась здоровая эротичная тетка, которую уже почти невозможно было обнять, чувствуя хрупкие косточки, или зарыться лицом в пахнущие солнышком волосы... Теперь эти волосы пахли ароматным дешевым шампунем и еще чем-то неуловимо гадким для целомудрия, но, вероятно, очень притягательным для похотливости...

«Как же так?! – металась Евгения наедине с собой. – Почему и воспитание, и постоянный пример всегда были исключительно положительными, прочно, вроде, прививались соответствующие убеждения, а получилось... А что, собственно, получилось?».

Ничего особо страшного пока не наблюдалось. Сходив на две-три дискотеки, дочь раз и навсегда потеряла к ним интерес (хоть и лихо отплясывала на выпускном, покоробив чувства матери), много читала на родном языке и пыталась – по-английски, без усилий неплохо училась, получив вполне достойный, но странный аттестат: без четверок, но с пятью тройками – по алгебре, геометрии, физике, химии и физкультуре – и те учителя натянули из уважения к коллеге. Остальные отличные отметки обеспечивали аттестату достойный средний балл, и жизнь продолжалась.

- Я уже выяснила все насчет приема документов в педагогический... Да и договорилась насчет тебя, собственно, что уж скрывать... Сама знаешь, сколько у меня там знакомых. Но это не должно тебя смущать: в наше время, да порядочному человеку... ты понимаешь. Но экзамены ты будешь сдавать со всеми наравне, и, если уж совсем провалишься, тогда, конечно, ничего не гарантируют, но с твоими способностями, надеюсь... – Евгения говорила обо всем этом как о решенном деле, и чуть не поперхнулась, когда Агата вдруг ее перебила:

- Извини, мама, но я решила поступать не в педагогический, а на факультет журналистики. Помнишь, мы с тобой все писали письма то в «Пионерку», то в «Комсомолку», вроде статей, – ты еще говорила, руку набить, – а их печатали. Так вот, я выяснила, что для творческого конкурса этого хватит, а экзамены...

Евгения обрела утраченный было дар речи:

- Подожди... Но мы же давно решили, что у нас будет династия учителей. А журналистику мы тоже обсуждали как вариант и пришли к выводу, что эта профессия – продажная... Не для благородных людей... И вообще, не женская. Мы отмели этот вариант, как и несколько других, потому что посчитали, что...

- Ничего мы не посчитали! – вдруг почти грубо крикнула дочь. – И ничего не отмели, не решили, не пришли к выводу! Все сделала ты! Ты одна! И очень ловко подсунула мне

это «мы», чтоб я не думала, что ты навязываешь мне свою волю! Но я не хочу быть учителем! Я не хочу учить литературе и русскому детей, я их терпеть не могу! Я хочу писать сама, и чтобы меня читали!

- Как это... детей терпеть не можешь... – обомлела в Евгении мать и учительница – и она сразу поняла, что пора пускать в ход «тяжелую артиллерию». – Вот что. Я вижу, ты себе многое просто внушила. Внушение – великая вещь. Делай, что хочешь, – но не занимайся самовнушением: это приведет тебя к жизненной трагедии.

Фраза «Ты сама себе это внушила» была еще одним рычагом воздействия на дочь, срабатывавшим без сбоев. Этой фразой, оперевшись на собственный родительский авторитет, можно было с легкостью сокрушить любые наивные дочкины аргументы. Внушила – и все тут, а мать лучше видит, что есть на самом деле. Внушила себе, что хочешь стать журналистом, а на самом деле дорога тебе одна – в педагогику; внушила себе, допустим, что тебе нравится какой-то мальчик, а на самом деле он ничем не выделяется; внушила себе, что нужно остричь волосы, а на самом деле тебе так к лицу гладкая прическа... Внушила себе! Этим и объясняются все недоразумения.

Скандал в тот день произошел такой, что Евгении впервые показалось, что она не любит собственную дочь. Потому что невозможно же любить эту чужую девушку, так противоестественно отталкивающую идеалы, терпеливо прививаемые матерью вот уже семнадцать лет – да и внешне теперь так далекую от идеала... Но опять все разрешилось сладкими рыданиями и объятиями, а наутро мать и дочь с покрасневшими глазами, но под руку, отправились подавать документы в знаменитый «Герценовский», всегда считавшийся приемлемым компромиссом для неудавшихся литераторов, художников и ученых, смирившихся с тем, что они будут заниматься пусть и не напрямую любимым делом, но хоть чем-то, похожим на него...

Евгения одержала уверенную и очень важную победу, не позволив дочери в самом начале оступиться, неправильно заложить фундамент скромного, но надежного дома под названием жизнь. Сама судьба благоприятствовала ей: те же добрые знакомые, что так удачно толкнули Агату на первый курс факультета русского языка и литературы, зазвали и саму Евгению на случайно вакантную должность преподавателя – и она радостно уцепилась за вдвойне, нет, тройне выгодное и очень лестное приглашение. Во-первых, школа и как-то подозрительно быстро забывающие в последнее время подобающее место ученики потихоньку стали раздражать Евгению. Во-вторых, возможность непосредственного догляда за взрослеющей дочерью несказанно радовала тревожное материнское сердце. А в-третьих, отвечать на вопрос: «Где вы работаете?» небрежным: «Читаю языковедение и русский в вузе» представлялось гораздо более заманчивым, чем скромно отвечать: «Я учительница в школе».

Все складывалось хорошо: вновь, как и встарь, поутру ехали мама с дочкой к одной цели на троллейбусе, да и вечером частенько удавалось подгадать время так, что и домой возвращались вместе, оживленно делясь впечатлениями прожитого дня.

Агатин бунт и порыв на сторону, в неведомую журналистику, прошел, как не было, вместе с подростковым возрастом. Казалось, она и думать забыла о глупой детской стычке с мамой и теперь с удовольствием училась в выбранном ими вместе институте – как всегда, не самая первая в учебе (и слава Богу: первые ученицы, в основном, сумасшедшие), но и далеко не плетясь в хвосте. Евгения вовсе не была строгой матерью и порой позволяла дочке порезвиться в меру, пошутиться с подружками – и втихомолку радовалась, что соблазнов почти никаких: факультет на сто процентов девичий, не какой-нибудь журналистский, где половина студентов – незакомплексованные взрослые парни, только и ждущие случая испортить девчонку. А той – много ли надо! Зазовут дуреху, подпят – и готово дело. Как она была права тогда, летом, что не сдалась, не пошла у своего несмышлениша на поводу! У несмышлениша, в свой срок захотевшего романтики...

Против одного только решительно восставала Евгения: против походов Агаты с девчонками в военные училища на танцы. Младшие курсы не для того предназначены, тут всякие свиданки просто бессмысленны: курсант скоро станет лейтенантом, уедет по месту службы, и поминай, как звали, а у девочки – рана на сердце. Успеется, замуж нужно выходить, получив образование, следовательно, задумываться об этом придется не раньше последнего курса. И уж конечно, не из будущих защитников Отечества искать пару девочке! Все наслышаны о судьбе офицерских жен, спасибо. Дочери врага такого не пожелаешь.

- Зачем нам такой жених? – на всякий случай исподволь внушала Евгения за всегдашним вечерним чаем. – В Ленинграде его не оставят, зашлют, куда Макар телят не гонял. И ты, моя девочка, привыкшая к накрахмаленному постельному белью, горячему душу, полноценному питанию, – поедешь с ним куда-то в грязь, холод, вечную мерзлоту? В какой-нибудь вшивый вагончик? И будешь ведра воды ледяной таскать на коромысле, греться у трамвайной печки? А муж? Да никогда не слышала я про такого солдафона, чтоб не пил. Когда все эти первые ахи-охи-вздохи пройдут, то он в два счета и руку на тебя поднимет. А если ребенок? Ребенок должен расти в нормальных человеческих условиях, как ты у меня росла, ходить в хороший садик, в школу, а там что? В общем, дочка, пусть твои девчонки глупые бегают на эти танцульки. Добегаются на свою голову до того, что на втором-третьем курсе станут матерями-одиночками и из института повывлетают. Разве не обидно? И ты постарайся не попасться, не сделай глупость, даже глядеть не начинай в ту сторону – несчастий потом не оберешься...

В целом, жизнь текла ровно и правильно, и длинные зимние вечера понемногу стали походить на те, из давних мечтаний: тот же круглый стол, лампа с зеленым абажуром, домашнее варенье в вазочках, тонкий парок над чаем... Евгения проверяла теперь, слава Богу, не плоские детские сочинения, а студенческие работы – тоже, конечно, не гениальные, но все рангом повыше. Дочь сидела за столом со своими заданиями и конспектами. Был, конечно, у нее в комнате свой секретер со всем необходимым, но ведь уютней же так – у мамы под бочком, да и по ходу дела мимоходом подсказки спросить... Неточности, разные мелкие несовпадения с мечтой тоже имели место, как приятные, так и не очень, но Евгения, будучи человеком трезвым и отнюдь не греша открытой сентиментальностью, хорошо понимала, что требовать от жизни совсем уж полного тождества с идеалом – дело, по меньшей мере, неумное и зряшное. Так, положительным моментом была все-таки подушка на сиденье того уютного полукреслица, откуда насмешливо мерцал в мечте фосфоресцирующий кошачий глаз. А в вопросе приобретения всего живого, имевшего более двух ног, Евгении удавалось всю жизнь сохранять твердокаменную позицию – и вовсе не путем прямых непрекаемых запретов, коими иные родители навсегда отталкивают от себя детей.

- Помнишь, мы с тобой читали у Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили»? А вот мы с тобой разве готовы взять на себя ответственность за животное? О нем ведь надо заботиться, кормить, следить, чтоб было ему всегда хорошо, а у нас? У нас несчастный зверь будет с утра до вечера сидеть один в доме. А если, не дай Бог, заболит? А вдруг умрет? К животным ведь люди тоже привязываются, как к членам семьи... Зачем покупать себе потенциальное горе?

Евгения очень гордилась тем, что всегда умела избегать в воспитании прямых приказов или запретов, и действовала путем мягкого ненавязчивого убеждения. Ей всякий раз удавалось, минуя обычные ребячьи заслоны, попасть прямо в душу дочери и воздействовать непосредственно на месте, умело играя на клавишах то долга, то совестливости, то вины, то жалости... Да, конечно, кошка не приобреталась в конечном счете не из-за того, что разносит вездесущую грязь по квартире и дурно припахивает, а потому что ей, бедняге, будет одиноко без любимых хозяек весь долгий день.

На этом приятные отличия заканчивались, а крупной неприятностью реалий явилось то, что вовсе не гладкая прилежная головка в стиле тургеневской барышни усердно

склонялась над тетрадкой, а некое подобие кочана цветной капусты, потому что однажды под свой день рождения Агата все-таки посмела проявить своеволие и отстригла косу тайком, заменив ее локонами в чисто Катеринином духе.

- Как же можно было делать такое, не посоветовавшись?! – ахнула мать, увидев вечером сие безобразие, окончательно превратившее облик Агаты из индивидуального, строгого, в стандартно-модный.

Под словом «посоветоваться» всегда подразумевалось – спросить разрешения, но таких унижающих достоинство ребенка выражений Евгения тоже старалась не допускать, потому до сих пор Агата и «советовалась» с нею насчет каждого своего шага, держа таким образом мать полностью в курсе даже самых тайных помыслов и смутных движений души. А ведь скажи мама: «Спроси разрешения!» – и навсегда лишилась бы дочернего доверия в тот же день.

- А я и так знала, что ты будешь против, зачем советоваться-то? – резонно спросила, в свою очередь, Агата.

- А раз знала, то значит, ты... хладнокровно... меня – ранила? – сразу же безошибочно нажала на клавишу совести Евгения. – Ведь ты же знала, как мне больно будет видеть тебя стандартной, как все девчонки!

- Мама, я не ожидала, что ты примешь все так близко к сердцу... – пробормотала озадаченная Агата, никак не ожидавшая, что для матери вид ее остриженных и завитых волос станет чем-то большим, чем незначительная неприятность; а оказывается, она причинила матери мучительную боль! Ох, лучше б она этого не делала...

- А как же мне не больно! – с горечью произнесла Евгения. – Как же не больно, если моя единственная дочь пошла на поводу у низменной толпы! Утратила свою неповторимость! Чем ты теперь отличаешься от своих одноклассниц? Раньше было так: ты – и все остальные. А сейчас – одна серая масса, из которой ты ничем, решительно ничем не выделяешься!

- Конечно, если и одежда у меня, в основном, серая! – попробовала колко огрызнуться дочь, имея в виду свое очаровательное рабочее платье, чуть серебристое, с мягким воланом по подолу.

- Хорошо, скажем так: пестрая масса, – парировала мать. – Хорошо, что есть хоть что-то, самое последнее, чем ты можешь выделиться в лучшую сторону: хорошим вкусом хотя бы в одежде, или уж не смогла сохранить достойную прическу!

- Ну что же мне теперь делать! – почти в отчаянье, подсознательно запрограммированной матерью, воскликнула Агата. – Волосы ведь обратно не приклеишь! И не распрямишь!

- Что поделаешь... – горестно покачала головой Евгения. - Похоже, и тебе придется переболеть этой всеобщей девичьей болезнью – стрижкой. Хоть и надеялась я, что ты окажешься умнее, но... – и она выразительно щелкнула пальцами, добывая сомнения, могущие еще гнездиться в душе девочки. – Что уж теперь... Просто давай договоримся, что больше никаких таких экспериментов без моего совета не будет... Мы их отрастим, а там посмотрим, хорошо?

И они, разумеется, договорились.

Что касается третьей неточности жизненной картинке, то устранить ее казалось трудней всего. Для этого Агате требовалось переболеть еще одной всеобщей девичьей болезнью – влюбленностью, а Евгении – перестрадать тот факт, что ее невинная, несмотря на все свои подростковые «закидоны» девочка – в стыде, ужасе и отвращении будет лежать под потным хрюкающим самцом, а потом одна, без мамы, среди чужих и равнодушных морд под белыми колпаками, станет в муках рожать малышку-доченьку, которая и займет через несколько лет свое законное место за журнальным столиком, с акварельными красками и альбомом для рисования. Все это будет уже после того, как Агадины курсовые сменятся стопками ученических тетрадей, а волосы ее отрастут и вновь улягутся в аристократический узел.

Евгения прекрасно понимала, что как ни оберегай дочь, как ни оттягивай время, а все-таки однажды наступит тот неизбежный день, когда дочь влюбится, и... А такой ли уж неизбежный, собственно? Ведь удалось же Евгении оградить дочь от разлагающего влияния подружек – всяких там Тань, Мань, Лен... Нет, она, конечно, полностью Агату от общения со сверстницами не ограждала, просто каждый раз ненавязчиво указывала ей на то, почему очередная кандидатка в подруги ни в коем случае не может ею оказаться.

- Ты посмотри, из какой Даша семьи! У нее же папа – сантехник! Милая моя, да я никогда не поверю, чтобы в этой семье не пили! А значит, у Даши твоей одна дорога...

- Ты думаешь, зачем Катя с тобой дружит? Да она просто приноровилась списывать с тебя задания! А вспомни, когда ты заболела – она только один раз пришла тебя навестить, с единственным яблоком, хотя ее родители – обеспеченные люди!

- Эта Оля твоя – законченная вертихвостка! Ты посмотри, у нее ногти, кажется, уже намазаны – что из нее дальше-то будет! Представляешь, чему она тебя научит?

Нет, Евгения вовсе не была бы против дружбы дочери с хорошей, чистой девочкой из приличной семьи – но что-то не встречались на их пути такие девочки! А встречались то жадные, то легкомысленные, то из совсем простых семей. Поэтому Агата закономерно предпочла иметь лучшей подругой – маму: она, по крайней мере, не предаст, не станет искать корысти. Может быть, лучше, чтоб и влюбленность с неизбежными разочарованиями обошла стороной? Побережь, оградить... Можно и без внучки обойтись, в конце концов, а в мечте своей она всегда сможет что-то подкорректировать. Нет! – осаживала себя Евгения, когда такие мысли начинали приходиться слишком уж часто. Нельзя становиться эгоисткой, нельзя лишать дочь счастья материнства! Ведь она, Евгения, видела это смыслом своей жизни, и жестоко было бы устроить так, чтоб Агата этого не испытала. Может, и ничего, может, и встретится им умный, интеллигентный юноша, начитанный, непьющий, уважающий старших и ценящий их мнение, с руками (не вызывать же вечно то слесаря, то плотника), работающий, чтоб Агате чересчур не надрываться, и чтоб не особо требовательный – то постирай, это приготовь: она ведь не прислугу растила; чтоб ребенка любил, к жене по ночам пореже приставал с глупостями... Такого зятя она бы приняла – почему нет? Может ведь дочь оказаться счастливее, чем она сама.

* * *

- Опергруппа, на выезд!

Четвертый за эту ночь. Последнюю мою ночь на этой работе и в этой системе служения Родине. Последний на всю жизнь, потому что до конца дежурства наша группа как раз и успеет с ним разделаться. Потом – только нудная до ломоты в костях бумажная волокита, сопровождающая добровольный уход любого, кто пожелает вырваться из когтей МВД, – и через пару недель я буду носить смешное и гордое название «частный сыщик». Общественная полезность моего нового труда равна будет благу, приносимому мной обществу и ныне, только вот жалованье обещают раза так в три выше, потому что деятельность следопыта оплачивается почасово в условных единицах. Я, конечно, понимаю, что выслеживать мне придется, по большей части, неверных мужей, основной хлеб подобных контор, – причем, именно мужей, а не жен. Считается, что у женщины-детектива в самый неподходящий момент может разыграться женская солидарность с изменницей, в результате чего обманутый муж, он же клиент, окажется обманутым вдвойне. Желание же отомстить мужскому роду в целом – за ущерб, непременно понесенный от его представителей в прошлом, – наоборот, заставит сыщицу выполнять свои обязанности дотошней – и снова из корпоративного дамского духа. В любом случае, такая работа не предполагает моего хладнокровного присутствия при выбивании показаний из случайно задержанных граждан, а также таких ночных выездов, как сегодня, например.

- Мамаша, вы милицию вызывали?
 - А-а?
 - Милицию, спрашиваю, вызывали?
 - А-а? Плохо слышно, милая...
 - Ментов звала, старая карга?!
 - А это кто такие?
 - Мы это, мы!!!
 - Нет, вас не вызывала.
 - Но у нас вызов на ваш адрес! Пожилую женщину избивает пьяный сын.
 - А-а?
 - Сын, говорю, ваш бил вас или нет?!!
 - Бил, бил, милая, вот два зуба выбил под Новый год, с пьяных-то глаз.
 - А сегодня? Сегодня бил? Почему в милицию звонила, бабка?!
 - Нет, сегодня не бил. Сегодня он вообще в ночную смену.
 - Звонили тогда зачем?
 - Что?
 - Милицию – зачем – вызывали!!!
 - Так замок в его комнате сломать.
 - Зачем?
 - А-а?
 - Зачем – замок – ломать!!!
 - Так деньги там, милая...
 - Ваши? Украл у вас, что ли?!
 - А, нет, не крал, его там деньги.
 - Тогда что вы хотите-то от нас? Мы же милиция, а не взломщики!!
 - Да, да, взломщики окаянные: прошлое лето, как в деревню уехала, так мою комнату и взломали! Гладильную доску – новую совсем – вынесли и пропили... Вот я и хочу, пока нету его, хоть деньгами за ту доску взять...

На обратном пути встретили на автобусной остановке пьяного мужика – это уж законная добыча. Пошерстили – пустой, похоже, пропился до гривенника. В сумке только паспорт и книги по какой-то науке. Да ну его, толку никакого, а возни много; одет тепло, не окоченеет, дождь на него пока не капает, хотя вокруг остановки стеной стоит... Поехали было дальше – рация:

- Развернитесь, там рядом с вами баба визжит, что к ней в квартиру кто-то ломится.

Подъезжаем – дом из дорогих, новой постройки, год назад заселили, а лифт только месяц как ожил. До того одно удовольствие было там по лестнице бегать, потому что вызовы всегда случались не ниже пятнадцатого этажа, причем на девяносто процентов ложные. Как сейчас.

Кабаний рев мы услышали еще из лифта:

- Открывай, хуже будет!! Дверь разнесу – убью вообще!

- Так, гражданин, почему буяним, документации.

- Вот и хорошо, вот и отлично... Слышишь там, дрянь, – милиция приехала! Сейчас тебе покажут, как над родным мужем издеваться!!

- Тебе покажут! Арестуйте его, товарищи милиционеры! Третий час ночи, а он тут устроил! А у меня ребенок спит!!

- Так я к жене своей иду! Что я, права не имею?!

- Спокойно, товарищи, спокойно, документы у вас имеются? И ваши, гражданочка, пожалуйста...

- Ну что, убедились? Муж я ей! Законный!

- Бывший муж, бывший! Заявление на развод подано! Так что пусть дорогу ко мне забудет!

- У меня ребенок, между прочим, здесь!

- Во тебе, а не ребенок! Скотина!
- Попрошу без оскорблений, товарищи, насчет развода и ребенка решит суд, а пока, гражданин, вам придется удалиться.

- Куда это удалиться? Здесь моя квартира!

- По месту регистрации удалиться, потому что зарегистрированы вы совсем в другом месте, а гражданка здесь именно прописана и имеет полное право отказать вам в пребывании на ее площади...

- Так это же я, я сам ей, гадине, денег на квартиру дал!

- Имущественные вопросы тоже решает суд, а пока...

- Произвол! С каких это пор милиция вмешивается в семейные дела?! Я сейчас войду в эту квартиру, потому что это мой ребенок и моя жена! И я имею на них право!

- Давайте отойдем в сторонку, гражданин, для разъяснения... Слушай, мужик, тебе нужны проблемы? Нет? Так они сейчас будут, потому что она заявку на тебя накапает. И оформим тебе хулиганство, хочешь? Иди лучше по-хорошему, мужик, а?

На улицах нечего ловить: дождь такой, что даже милицейские фары не пробиваются дальше трех метров. Думаете, беспорядков такая погода убавляет? Ничуть. Они просто переносятся под крышу и совершаются даже с особой неистовостью, потому что в теплом помещении пьется лучше, а убежать некуда. Третий вызов нашей группы – в подъезд. Здесь действительно тяжелая статья, а не мелкая бытовая разборка: четверо девиц совместно отмузузили пятую – всерьез, до полусмерти, и добились бы до конца, если б кто-то из страдающих бессонницей жильцов не вызвал нас. Девки так увлеклись, что взяли мы их тепленькими – за шумом дождя, звуками ударов, стонами жертвы и собственным пыхтением они не услышали даже наших шагов. Девочек мы повязали, в «луноход» покидали, и началась еженощная тягомотина: «скорая помощь», приехавшая волшебным образом («Ну, все, допрыгалась, шалава, инвалидное кресло ей, кажется, светит», – добрый доктор после беглого осмотра); протокол, осмотр места происшествия, опрос тех, кто проснулся и сунул нос на лестницу – волынка часа на три...

Неужели я все-таки настолько привыкла к крови, что вид ее, сплошной массой застывающей на сером камне лестницы, черными, словно живыми каплями и потеками свернувшейся на стенах, больше никогда не вызовет у меня сердечного трепета?

Когда притащились в отделение, я уж решила, что все на сегодня – разве только что по мелочи, и мы едва успели опрокинуть первые пятьдесят грамм, как снова принесла нелегкая: «По коням, ребята, у нас труп».

Труп – это хуже нет. Чаще всего – перепив или передоз, следующее – пьяная драка, потом – бытовуха, реже – самоубийство, ограбление или изнасилование с последующим ножом в печень или удавкой... Надо же – последний в жизни вызов – и на полную катушку: теперь, пока со всех сторон этот труп не оближешь – дежурство не сдашь. А потом еще – писать, писать и писать, и главное, что большую часть работы мы все равно всегда выполняем напрасно.

...Никто даже не потрудился прикрыть ее хоть какой тряпкой. Так она и лежала, будто воробей, выпавший из гнезда, беспомощно и некрасиво, лицом вниз. Голова, шея, плечи – всюду волосы, волосы, волосы – светлые мокрые кудри в свете блеклых фар, мутных фонарей и фантастических багряных отблесков сверху. Под занавес своей милицейской карьеры я получила труп с гарниром в виде пожара, и будем надеяться – ох, как надеяться – на несчастный случай...

Во двор торжественно въехала красная пожарная машина – и как раз вовремя: все уже мирно догорало. Из кабины не торопясь вышел водитель в пожарной форме и с полминуты, заложив большие пальцы за пояс, меланхолично оценивал обстановку, находясь в центре всеобщего молчаливого внимания. Наконец, деловито произнес, обращаясь ко всем вместе (во дворе под несколько сократившимся дождем уже маялось с десяток зевак плюс наша опергруппа) – и ни к кому в отдельности:

- Труп отодвиньте. Машине не проехать.

- А зачем тебе проезжать-то? – нашелся веселый лейтенант Ленья.
- Тушить будем, – снисходительно пояснил мужик, смерив его взглядом.
- Что тушить? – вскинул брови Ленья. – Это? Друг, там уже, наверно, с час, как пепелище. Что ехал-то так быстро?

- Сколько надо, столько и ехал. А тушить все равно будем, по инструкции положено.

В торговле с пожарными прошло еще бесполезных минут двадцать. Сошлись на том, что они попытаются попасть в квартиру через дверь, потому что со двора тушить почти догоревший пятый этаж трудно и вломно: пламени все равно уже нет. А мы пока займемся трупом... Да, а труповозку вызвал кто-нибудь? Нам теперь что, часового здесь ставить, если машина к вечеру приедет? А вообще, смерть констатировал кто-нибудь? Может, она живая лежит, пока мы тут препираемся? Кто врач, вы врач? Точно умерла? Слава Богу... То есть, жалко, конечно... Давай, эксперт, смотри ее, а потом накроем чем-нибудь, а то видишь, какой здесь колодец: сейчас светать начнет, и вообще амфитеатр получится.

- Ага... Марин, пиши ты, что ли... Так, и что мы имеем... Труп женщины лет около... Марин, как думаешь, сколько ей было? Лет около двадцати-двадцати пяти... Лежит лицом вниз.. Руки раскинуты... Ноги... Как бы это выразить... Выгнуты... Нет, подогнуты... Не, во как: разбросаны...

- Ты чего, Сереж? Где разбросаны? Вокруг? Ты думай тоже, что говоришь...

Совершенно ясно было, что случилось одно из двух: либо девушка, обезумев, выпрыгнула в окно, спасаясь от вездесущего огня, смутно предпочтя мгновенную смерть от падения мучительной пытке сгорания заживо, либо она полезла на карниз в надежде спастись там или докричаться о помощи – и сорвалась. Пожар, конечно, начался, когда она спала... Позвольте, да ведь она одета! Свитерок, брюки, только туфель на ней нет! Я еще раз глянула наверх и хлопнула себя по лбу: да там ведь не квартира, там редакция сгорела! Еженедельного то ли тонкого журнала, то ли толстой газеты! То-то работенка теперь подвалит, потому что тут-то как раз весьма и весьма возможен поджог. Сначала сотрудников опрашивать... В любом случае – это уже не моя работа, мне б только на месте разобраться, доложить, что и как, а дальше... Так выходит, девушка там ночью работала? И так увлеклась, что заметила крупный пожар, только когда огонь подобрался к ней вплотную? Нет, бред какой-то... Заработалась и уснула на диване? В принципе возможно, но...

- Так, ладно, граждане! Кто видел что-нибудь конкретное? Милицию кто вызывал?

- Я вызывала, – вперед выступила бесполоая и безвозрастная особь в спортивном костюме, почти, к тому же, бесплотная, зато с огромными и страшными, как у инопланетянина, глазами. – Я как увидела, что она умерла, то сразу милицию, а потом...

- По порядку, пожалуйста, – уныло пробормотала я.

- Да, да, конечно, – суетливо начала, вероятно, все-таки, дама, но потом взяла себя в руки и рассказала довольно толково: – Я проснулась от ужасного женского крика с улицы. К окну подбежала – и ахнула: весь последний этаж дома напротив пылает; там еще издательство или редакция какая-то располагается... В окне, в среднем, женщина стоит, а за ней – огонь, огонь... Ужас! Она кричит: «Помогите!» – а как ей поможешь, чем? Только глянула на нее – и побежала в пожарную звонить. Вернулась потом к окну, а эта несчастная уже из своего выбирается и на карниз хочет встать... Да разве ж устоишь на нем – он же покатый и скользкий, наверно. Дождь ведь лил всю ночь, дождь-то какой, видели? Я и моргнуть не успела, как она сорвалась и без единого вскрика упала – мелькнула, и все... Я бегом вниз, я ведь врач-травмотолог как раз, в Джанелидзе работаю, в реанимации, так что в обмороки не падаю. Подбежала и сразу увидела, что «скорая» уж ни к чему. Девушка на месте погибла, это абсолютно точно: у меня опыт работы тридцать лет, так что можете верить...

- Это верно, она себе мозги в прямом смысле слова вышибла, – подал вдруг голос покинутый мной судмедэксперт. – Не мучилась, факт.

Призрачная докторица оставила сей неделикатный комментарий без внимания. Я с некоторым интересом ее разглядывала: в моем представлении, травматолог-реаниматолог – это здоровенный мужчина с окороками вместо рук, а тут просто привидение какое-то – и ничего, тридцать лет опыта... А что, это ведь обычно именно у таких субтильных дам – железобетонная воля, конская выносливость, да еще в сочетании с неизвестно откуда берущейся волшебной физической силой. Я невольно зауважала Александру Ивановну (так она представилась). Спросила, уверенная, что ответ получу исчерпывающий и перепроверке не подлежащий:

- А больше никого в окнах не видели? Не показалось, что кто-то мелькал?

- Нет, она одна была, – без сомнений ответила Александра Ивановна. – И что там делала ночью?

- Работала? – подсказала я.

- Ни в коем случае. В четыре утра, по крайней мере, окна темные были.

Я насторожилась:

- На этой стороне. А на той?

- Ни в коем случае, – повторила она. – Редакция эта у меня шесть лет напротив. У них посередине коридор, и два ряда комнат по бокам, раньше там коммунальная квартира была. Так они там двери в коридор никогда не закрывают, и на какой бы стороне ни горел свет – на другой видно, насквозь. А сегодня глухая темнота была до четырех; потом – не знаю, я спать легла. А в шесть проснулась... от всего этого... Так что, если только она в промежуток с четырех до шести пришла. Но тогда – почему из квартиры не выскочила, поначалу-то ведь, наверное, можно было, не сразу же кругом вспыхнуло? Или сразу? Нет, не понимаю...

Неожиданно оперативно подъехала труповозка, вылезли санитары, протиснулись сквозь начавшую загустевать толпу, рявкнули без церемоний:

- Этот труп? – как будто там лежал еще другой.

- Да, забирайте, я закончил, – поднялся с карачек эксперт.

Вот этот процесс мне никогда не нравился: невольно представляешь на месте очередного трупа собственные сброшенные кожаные ризы. А что, если б тот мальчишка-наркоман в позапрошлом году пальнул не наугад, а немножко прицелился... Впрочем, одного боевого ранения мне хватило, чтобы задуматься о смысле жизни... То, что два часа назад было юной девушкой, наверняка, влюбленной в кого-то, строящей планы, учившейся, смеявшейся, надевавшейся на лучшее, чаевничавшей с мамой, сейчас превратилось в мешок с костями, который, ничем не прикрыв, швырнули на носилки и небрежно затолкнули в машину; с безнадежным, конечным стуком хлопнули задние створки...

Сверху, из окна площадки верхнего этажа высунулся вездесущий Ленья:

- Марин, Саш, сюда давайте, пожарники закончили!

Я поплелась к подъезду. Разочарованная кратковременностью действия толпенка начала рассасываться, а мы медленно взошли на пепелище. Бросалась в глаза устоявшая железная дверь, вскрытая лишь пожарными, но за ней нам открылось зрелище абсолютно безысходное, ибо сгорело все, что, казалось, и гореть-то не могло: от жара даже превратился в крошево кафель в туалете, а почерневший унитаз аккуратно раскололся на четыре почти равные части.

- Электропроводка? – обратила я пылающий надеждой взор на пожарного, ранее буркнувшего что-то вроде: «Я за главного».

- Какое... Поджог чистой воды. Скорей всего, кто-то налил в коридоре на пол бензина и кинул спичку. Видите, здесь почти яма, и ходить-то опасно: как раз плюнуть в нижнюю квартиру провалиться.

- Может, она и подожгла... Ну, та, что в окно выпала, – вставил Ленья. – А чего... Бросила спичку, сама не ожидая, что так вспыхнет... Короче, не справилась с ситуацией.

- Наверяд ли, – хмуро перебил ворошивший носком ботинка гору черной золы эксперт. – В таких случаях люди кидают спичку от двери, уже стоя с той стороны – и быстро ее захлопывают. А она выпала из окна той комнаты, которая и загорелась-то последняя...

- Может, ее там заперли? – предположила я, чтобы не молчать. – Заперли и подожгли.

- Да, и она терпеливо ждала, когда огонь подойдет к ней вплотную, и только потом позвала на помощь, – фыркнул сообразительный Ленья.

- Напоили. Усыпили. Кольнули. Стукнули, – огрызнулась я. – В любом случае, мы это скоро узнаем, нечего и голову ломать.

Мне хотелось добавить, что это уже не мое дело, по крайней мере, с девяти часов утра, – и злорадно присесть с сигаретой где-нибудь в относительно чистом месте, наблюдая, как бывшие коллеги руками роются в вонючей саже, в поисках давно превратившихся в прах вещдоков. Но как, все-таки, сильны в нас условности, как крепки прутья клетки, заботливо поставленные вокруг нас нами же самими! Ведь ровно ничего не случится теперь со мной, если я сейчас ловко отстрелю окурок в центр бывшего коридора, встану, отряхнусь и произнесу то, что мечтаю: «А пошли вы все... Мне надоело, и я отправляюсь домой». Чувство товарищества, долга? А кто мои товарищи, которых никак не бросить, – вот эти вот? Доведший себя до алкогольной энцефалопатии Саня, орудующий двумя кувалдами-кулаками, не давая себе труд даже рассчитать силы? Жорик, без лишних сантиментов запикивающий интеллигентную свидетельницу в обезьянник к уголовникам, чтоб побольше вспомнила? Эксперт Серега, от которого я вообще никогда ни одного путного слова не слышала, но зато постоянно глубокомысленно ковыряющий в носу? К тридцати годам истаскавшийся до последних границ приличия пошлый балагур и бабник Ленья? Сибирский волк им товарищ. Так может, из-за чувства справедливости я здесь торчу? Хочу заметить то, чего они не заметят никогда, – то единственное, что поможет найти поджигателя и хладнокровного убийцу молодой девушки? Ничуть не бывало: у меня пусть не тридцать, а пятнадцать лет опыт работы, но я вижу в данном преступлении (хотя формально еще надо доказать, что это именно преступление, а не роковая случайность) все несомненные признаки будущего «глухаря» или «висяка». Потому что перебрать всех, кого могла задеть какая-нибудь невинная публикация в газете, невозможно принципиально... Хотя, может, были угрозы, скандалы... А-а, да мне-то что, в самом деле!

По лестнице быстро-быстро процокали дамские каблуки, что-то поцарапалось у двери, и на пепелище вступила весьма колоритного вида девица. Волосы ее были заплетены в тугие афрокосицы, выкрашенные в красный и апельсиновый цвета. На белом напудренном лице непристойно алел развратный рот таких размеров, что всем сразу же приходила на ум одна и та же произвольная ассоциация: казалось, будто совсем иная часть тела самовольно перекочевала на лицо, затмив собой все остальное, там ранее имевшееся. На девице топорщилась, едва прикрывая ей зад, ядовито-зеленая клеенчатая куртка, юбка отсутствовала вовсе, а тощие ноги в черных колготках всунуты были в пунцовые замшевые сапоги на такой шпильке, что девице приходилось передвигаться даже не на цыпочках, а на кончиках пальцев. Меня суксило от омерзения, зато утренняя физиономия Лени, только что изжелта-бледная после дежурства, вдруг волшебным образом расцвела и порозовела. Мне почудилось, что у него сразу вырос хвост – такой, знаете, как у трех павлинов сразу, и, веером распустив его и надув щеки для солидности, Казанова грациозно запрыгал по дымящимся развалинам навстречу юной соблазнительнице, всплеснувшей руками и так застывшей.

- Гражданочка, – идиотски осклабился он. – Документики...

- Какие, блин, документики, – неожиданным испитым баритоном отозвалось мимолетное виденье. – Я на работу пришла... Хотя вот, – и она извлекла из смачно оранжевой сумки какие-то ненадежные корочки.

- Ивлева Жанна... Ну, до отчеств нам еще жить и жить... Сотрудник... Корреспондент... Что-нибудь заявить хотите? – Сладко закукарекал Ленья, немного, правда, сбавив обороты после того, как услышал голос дивы.

- Да что тут скажешь... – пробасила она. – Само сгорело, или подожгли? Хотя что я спрашиваю, подожгли, конечно... Само так не выгорит, чтоб до тла... Наверняка, бензинчиком плеснули. Верно? Говорили же Альке, все говорили – не называй жен разных боссов шалавами! Не пиши про уважаемых отцов семейств, что они педерасты!

- Вы что-то конкретное знаете? – подскочил к ней Ленья в сыщицком раже. – Кого он оскорбил, конкретно? Чью жену? И вообще, кто такой Алька? Журналист ваш?

- Нет, Алька – это Олег, сам Главный. Он как настряпает передовицу – так обязательно наедет на кого. И, главное, припишет: имена и фамилии изменены. Как будто тот, кому надо, не додумается! Говорили ему: тебя когда-нибудь в подъезде подкараулят! Нет, дождались, пока в Прагу отвалит, и хуже сделали... Да ладно, у меня здесь все равно приработок не ахти какой был...

- Так это у вас не основное место работы? – пытал Ленья.

- Я учусь на журфаке. Ведаю... Ведала, наверное, уже надо говорить, ха-ха... Последним разворотом. Ну, там анекдоты всякие, рецепты, полезные советы, гороскопы... Карикатуры тоже могу...

- Гороскопы? – вдруг заинтересовался эксперт. – Вы что же это – астролог?

Девица глянула на него, как на помешанного:

- Кто астролог, я астролог? Вы чего, с дуба рухнули?

- Ну, а кто составляет-то их? Сотрудник специальный?

- Да я их составляю, делов-то...

- Так вы же только что сказали, что не астролог... – промямлил Сережа.

- Так от балды же! Все так делают! Вы же не думаете, что в каждом желтом листке сидит на окладе специалист? Гусейн Гуслия какой-нибудь: «Звезды Сад-ад-Забих»... – она от души расхохоталась.

Сережа Соловьева¹ не читал и протянул разочарованно:

- А-а, так это все вранье, оказывается! А у меня-то жена – вот дура – чуть ли не жизнь свою по этим гороскопам меряет... А анекдоты вы тоже сами сочиняете?

- Нет, не сама. Куплю две-три желтых газеты, надергаю всего понемножку и на компе скомпилрую. Ну, слова поменяю, имена, чтоб не придрался кто-нибудь, ясно?

В этот момент я озверела от их философской беседы и яростно отшвырнула окурок, вставая с подоконника, где все это время просидела на газетке:

- Вот что, девушка, давайте-ка попробуем извлечь из вас какую ни есть пользу. Мобильник с собой? Начинайте прямо сейчас обзванивать всех, кто тут работает... работал. Скажите, что произошло ЧП, что хотите, придумайте, но пусть все идут сюда немедленно. Сколько вас всего?

- Вместе со мной – шестеро, да плюс Главный, но он в Праге, – мгновенно выпалила Жанна, привыкшая, вероятно, необременительно балагурить только с раздолбаями, но вмиг встающая по стойке «смирно» перед теми, кто догадается взять хоть чуть-чуть строгавый тон.

Я велела Главному до времени не сообщать и, пока Жанна тыкала пальцами в пищащую штучку, больше похожую на тамагочи², чем на телефон, снова курила, глядя во двор, – туда, вниз, где всего полчаса назад некрасиво, как убитая лягушка, лежало тело другой девушки, – и что-то подсказывало мне, что та, по отношению к которой все глаголы теперь будут применяться только в прошедшем времени, была глубже, чище и значительней этой, возбужденно хлюпающей в трубку...

¹ Л. Соловьев, «Возмутитель спокойствия».

² *Тамагочи* – популярная «живая» игрушка на рубеже XX и XXI вв.

Их пришло четверо: с самого начала я была уверена, что пятая не придет никогда.

Опрятный мужчина в костюме и галстук, из тех, про которых бросают: «Да никакой он какой-то» – и эта меткая характеристика позволяет больше никогда данный объект с другим не перепутать – озирался без всякого выражения. Молодой парнишка, с ног до головы в джинсе, прятал, кажется, слезы: очевидно, газета для него много значила. Две женщины, где-то посередине между тридцатью и сорока, блондинка и брюнетка, пышка и щепка, тревожно переглядывались и молчали.

- Кого нет? – глянула я на Жанну.

- Лильки, – отрапортовала та.

- Кем у вас работает?

- На побегушках. Так, «подай-убери-помой», – неожиданно вставила Пышка с деланной небрежностью, но на самом деле тая нешуточную злобу.

«Ого, да здесь еще тот гадючий клубочек, – усмехнулась я. – Впрочем, как везде, где вместе собрано более двух женщин...».

Я уже нетерпеливо перебирала копытами, и потому первый необходимый опрос возможных подозреваемых проводила через пень колоду. Это потом они будут бесконечно таскаться по повесткам на допросы, где их последовательно вывернут потрохами наружу, а мне лично хотелось одного: убраться поскорей из ментовки вообще, а с этих угольев в частности. Тем более что ошарашенная кампания, беседовать с которой пришлось поначалу на лестнице, зарабатывала себе на жизнь, как выяснилось, прямым очковтирательством: морочила голову доверчивым гражданам напропалую. Только джинсовый паренек с челкой, оказавшийся «политическим обозревателем», занимался действительно чем-то похожим на комментарии политических событий – и неглупыми, похоже, комментариями, судя по его речи и умненькому личику. При благоприятных обстоятельствах и поднатаскается, быть может, со временем на матерого журналюгу, особенно если не побоится смотаться раз-другой в горячую точку, где, собственно, и создают себе корреспонденты гремящее имя.

Техническим редактором, то есть, человеком, верстающим газету от «а» до «я», оказался мужчина в пиджаке – от него за версту несло технарем, не сующим и кончик носа в так называемое творчество.

Две дамы, дружившие, вероятно, по принципу «противоположности сходятся», создавали в газете то, что, не жуя, глотают массы: они мирно, не пытаясь перетягивать одеяло на себя, из головы («от балды», как гораздо откровенней и сущностней выразилась Жанна) придумывали истории на тему «наша собачья жизнь», что включало в себя все бессчетные грани последней: начиная душераздирающими историями о современных Ромео и Джульеттах и заканчивая злостью четвероногих – причем все это выдавалось за реальные истории. Кроме того, газета имела еще приличный раздел читательских писем, дружески-деловито сопровождаемых комментариями психолога. Дамы даже не особенно скрывали, что они вдвоем – одновременно и Ромео с Джульеттами, и все брошенные животные, а также и вдумчивые читатели, и ученый психолог. Письма, мол, в газету приходят такие неинтересные, что их не только печатать невозможно, но порой даже и читать, – поэтому их и не читают: конверты, подписанные от руки, отправляются кратким путем в помойку почти всегда нераспечатанные...

Мне не хотелось еще час протоптаться вокруг да около, тем более что последствиям моей возможной ошибки предстояло сказать не на мне, поэтому без обычных в таких случаях туманных предисловий, я особым, напоследок «ментовским» тоном спросила:

- Лилия Шах – девушка около двадцати лет, блондинка с длинными вьющимися волосами?

- Да, – хором выдохнули все, и я резанула:

- Сегодня ранним утром, во время пожара, из окна вашей редакции упала – или была выброшена – женщина с похожими приметам; она скончалась на месте...

Кто-то ойкнул, кто-то ахнул. Брюнетка прижала руки к груди, а блондинку затрясло крупной дрожью. Странная какая реакция: сначала не скрывала пренебрежения к этой Лиле, даже почти бравировала им, а тут вдруг ее подкосило, словно лучшую подругу потеряла... Присмотреться бы к ней поближе... Ладно, это, в любом случае, не моя забота...

-... а потому, гр-раждане газетчики, вы, как люди опытные, прекрасно понимаете, что общение ваше с милицией, то есть, с нами, не может ограничиться болтовней на лестнице. Сейчас каждый из вас будет допрошен нашими сотрудниками подробно, под протокол...

- Старушка с первого этажа дает для этой цели свою квартиру, – шепнул мне на ухо, возникший слева, как бесшумный демон, Леня.

-... а до того особо просим вас между собой не общаться, никуда не отлучаться и никому не звонить. Запретить это мы вам не можем, но рекомендуем учесть, что тот, кто пренебрежет нашей просьбой, может вызвать к себе... особо пристальное внимание...

Не будь закончено на тот момент мое рабочее время, я бы не торопясь допросила всех пятерых сама: доверять группе недоумков первый допрос основных подозреваемых – значит зарубить дело под корень, как и было зарублено большинство дел, где первые опросы проводили наши героические опера.

Но, памятуя о том, что мне сегодня еще продолжать сдавать дела, я решила взять на себя до сих пор оторопелую блондинку, а остальным предоставить все прелести общения с нашим Леней (который сразу как приклеился к Жанне, так ни на шаг от нее и не отходил), а любителям острых ощущений – так даже с Саней и Жорой. Пока до обезьянника далеко, брюнетке не грозит оказаться на одной скамейке со сбродом, доставленным в отделение за эту ночь.

- Я с вами сначала побеседую, – кивнула я моей Пышке, и она обреченно, как коза на веревке, стала спускаться за мной в гостеприимную квартиру, где бабка аж подпрыгивала от любопытства...

*

- Как я понимаю, Лилия Шах к числу ваших лучших друзей не относится, – без обиняков начала я, беспощадно глядя в как-то сразу осунувшееся и посеревшее за последние минуты лицо женщины.

Ее звали Агата Аркадьевна Нащокина. Славная фамилия, пожалованная ее дальнему по крови и времени родственнику самим Иваном Грозным в честь раны, полученной на поле боя, неприятно дисгармонировала с иноземным именем и была, вероятней всего, капризом утонченной мамыши. Агату можно было считать, скорей, миловидной, и миловидности ей все прибавлялось по мере того, как прилиwała к лицу отхлынувшая было кровь: большие, светлые глаза в черных стрелках ресниц, полные, как у фотомоделей, губы, аккуратный носик, цветущий румянец, мало-помалу вернувшийся на свое законное место, – все это могло бы украсить даже обложку женского журнала. Фигура, правда, у бабы совсем не модная, но Кустодиев с Тицианом и Рембрандтом бегали бы за ней наперегонки, а, догнав, хищно отнимали бы друг у друга с целью запечатлеть либо у самовара, либо под золотым дождем...

Другое дело – я, вся средняя, серая, как собственная форма, которую хоть и не ношу, но за пятнадцать лет вжилась в нее, как во вторую шкуру... Волосы не светлые и не темные, глаза не большие и не маленькие, нос и рот – обыкновенные, размер одежды – сорок восьмой, а обуви – тридцать седьмой... Три часа простоишь рядом со мной в застрявшем лифте, а назавтра не узнаешь – был такой прецедент... Однажды учудила: покрасилась в брюнетку, прельстившись рекламой краски, как школьница, – и в результате подсел знакомиться в метро тот тип с ручным бегемотом, о котором уже вспоминала не в добрый час... Самый длинный мой роман с мужчиной длился восемь месяцев – и именно о нем противней всего вспоминать; более короткий «гражданский брак» – пять, и о нем я почему-то совсем не вспоминаю. Остальное было – дружески-постельные приключения,

при воспоминании о которых хотя бы не тошнит, и две-три попытки выскочить из среднего пола, растянувшиеся аж на три месяца – и вот мне уже тридцать семь лет. Незабвенный Патрик продержался пол-июля, август и сентябрь, и после его отъезда я вдруг отчаянным жестом швырнула в Мойку карту памяти из своего фотоаппарата – не стала ни в компьютер перекидывать, ни на бумаге отпечатывать. Для чего? Все равно, пока не отболит, едкими слезами над фотографиями обливаться, а как отболит, все равно станет... Ведь выкинула же я альбом с тем, восьмимесячным недоноском – причем, походя, не проглядев даже, когда с бабушкой из коммуналки в новую квартиру переезжали... Добилась я все-таки этого момента через родное ведомство, а до того бегали мы с ней, я – тридцать, а она – восемьдесят семь лет по коммунальному коридору... Переехав в однокомнатную квартиру, до ее девяноста четырех спали мы с ней, разделившись шкафом, – и в своем уютном закутке у окна она очень уверенно, но совсем незаметно сползала с ума.

- Так что, не любили Лилю? – продолжала я нажимать, уловив, что допрашиваемая, вначале вполне внятно отвечавшая на формальные вопросы, напряглась и едва уловимо заgrimасничала при звуке этого имени.

- Честно хотите? Терпеть не могла, – созналась она, наконец, и вообще, похоже, успешно взяла себя в руки: теперь, чтобы чего-то путного от нее добиться, хоть Жорику ее передавай.

Агата откинулась на стуле и потихоньку вздохнула, по всей видимости, приняв какое-то решение относительно линии поведения на допросе, и заговорила раскованнее: она ведь была журналисткой или, скорее, писательницей, если исходить из способа, которым Агата с Тамарой (тощей подружкой-брюнеткой) добывали свои материалы.

- Противная, вредная и высокомерная. Едва из школы, образования – ноль, перспектив – тоже, потому что интересов – никаких. Даже говорить по-человечески не умеет... не умеет... Только вид делала, что разговаривает: повторяла конец фразы, произнесенной собеседником, – то в вопросительной, то в восклицательной интонации... Словом, так глупа, что хотелось ей по мозгам съездить, чтобы вправить там что-нибудь. К нам ее Костя привел, технический редактор: она – беспутная родственница каких-то друзей его семьи. Болталась, тусовалась, чуть ли не травку курила – вот родители ее и пристроили, чтобы хоть какое дело было у девки, раз уж на учебу никаких надежд. Словом, пустое место, общее место – как хотите называйте... Но ведь человек, все-таки, жалко, что погибла... да еще так страшно, – Агата передернулась и замолчала.

- Предположительно погибла, – заметила я. – Личность погибшей пока официально не установлена. Но у вас, судя по вашему ожесточенному тону, извините... Были и какие-то личные причины ее... – я не стала произносить слово «ненавидеть», заменила его глаголом полегче: – Недолюбливать.

- Да, пожалуй, что и личные, – с удивительной готовностью отозвалась Агата. – Только это трудно объяснить: здесь ничего конкретного.

- Все же попробуйте, – по привычке бросила я, хотя тут же себя и одернула: зачем тебе это – ты что, Порфирий Петрович? Пиши в протоколе просто: «Вопрос. Были у Вас причины для личной неприязни к гражданке Лилии Шах? Ответ. Конкретных причин не было, она просто была мне малосимпатична». Ладно, больше не буду тянуть время, только самые простые вопросы – и все.

- Ну, как сказать... – начала Агата, сделав изящный жест кистью, на которой сверкнул непропорционально огромный, но очень красивый перстень. – Видите ли, меня всегда приучали жить нравственно. Ни к кому не подлизываться, не стучать, всего добиваться самой, пусть самого скромного – но самой... Много учиться, трудиться, не жульничать, не отлынивать... Ну, и так далее... И знаете, как обидно порой бывает! Ты пять лет учишься в нелегком, в общем, институте – я филфак в «Герцена» закончила – потом долго ищешь себя, меняешь несколько мест, везде изо всех сил выкладываешься, пытаешься что-то заслужить, понравиться... Тебя иногда не понимают, даже пинают... Наконец, находишь

работу по душе (кстати, я ее сегодня потеряла), сидишь днем и ночью за компьютером, сочиняешь, напрягаешься... Между прочим, это сил немалых требует, как физических, так и душевных, хоть и кажется, что «от балды» наладить – проще не бывает. Да я, как Мопассан, работаю, выдумываю сотни и сотни историй! Только Мопассан мог как хотел писать, а мне приходится еще каждый раз стиль менять, манеру, речевые особенности, тонкости характеров продумывать, чтоб читатель фальшь не учуял. Это труд – знаете, какой? Может, если б люди нормальные письма в газету писали, да их опубликовать – проще было бы, наверное, – так ведь не пишут! Приходят они только от сумасшедших, моралистов и бабулек, которым заняться нечем. В результате я получаюсь едина в сотнях лиц, а у Тамарки все проще, между прочим... Так вот, убиваешься каждый день, всю голову сломаешь, глазки от компьютера уже в кучку, спина, как у восьмидесятилетней инвалидки, а все равно за спиной: халтурщица. Еще бы: ведь не серьезная литература или деловые статьи, а неизвестно что... А если вдруг удастся эдакий маленький шедевр, так его ведь даже своим именем не подпишешь, а какая-нибудь «Катя М., Новосибирск». А я – не писатель, не журналист, а стряпуха... И деньги весьма скромные. Очень весьма. Но работа нравится, да и понимаю, что лучшей взять негде. И вот, появляется такая соплюха, мандавошка, прости, Господи. Ничего не искала, ее за руку привели. Но – мордашка, попка, сиська – все на месте. Зубки жемчужные, хихикает. Да плюс полная беспринципность. Работа – развлечение. «Лилечка, съезди в типографию, привези накладные». Типография в десяти минутах езды на маршрутке, но Лилечки нет четыре часа, где шляется – неизвестно, но рабочее время ей идет, потому что главный на нее запал. Все равно вы от других узнаете, так что ничего страшного не случится, если я скажу: они спят... спали... с первой недели ее работы у нас, поэтому не жизнь у нее была, а одна сплошная привилегия. Кофе ему сварит и в кабинете с ним на час запрется – не международное же положение обсуждают! Нет, не то, что вы подумали: для свиданий у них места достаточно, он мужчина свободный, с тремя женами развелся. Они, видите ли, там просто кофе пьют и болтают, он на нее любит, как за гипнотизированный. Еще бы – ей чуть за двадцать, а ему – под полтинник, вот и замлел мужик, а личностные качества ее значения не имеют, личностей в юбках ему за его донжуанскую жизнь хватило, накушался... Скажешь ей – сотрудница все-таки: «Лилия, почитай корректуру». Она сядет к компьютеру бочком, ножку на ножку положит – а на ней «мини» – и лениво так мышкой по коврику возит. Эта корректура не считается, ее еще проверять и проверять – но ты попробуй сделать ей маленькое замечание! У нее сразу слезы в глазах, и она стрелой – к Олегу в кабинет: в душу плюнули! И можешь быть уверена, что через пять минут тебе на голову обрушится монарший гнев: как же, ребенка чистого обидели, девочку нашу бесценную, солнечного нашего зайчика! Тьфу! Ни хрена не делает, только с главным спит, у всех под ногами пугается со значительным видом, а денег получает больше, чем я. Она, собственно, второй человек в редакции, он ее переименовал из секретарши в ответственного секретаря! Хозяин – барин, что хочет, то и делает: у Лилечки, оказывается, работа тяжелая, много ходит по его поручениям. Сейчас, по поручениям, как же... По магазинам она болтается да по маникюрным салонам: вы видели когда-нибудь, чтоб трудящаяся женщина меняла маникюр три раза в неделю – просто так, потому что предыдущий надоел? А ты тут горбатишься, и Главный из тебя за каждую строчку душу вынет! А что делать – мы все люди подневольные, он нас кормит. Кормил... Не слишком сытно, но жили ведь... Вот и все насчет личных причин – только уж не знаю, как вы это в протокол запишете...

А она мне нравилась, эта Агата! Уверенная, раскованная, умная – но надломлена и обижена, что бросается в глаза, – и то ли жаль ее, то ли завидно, не поймешь... Она дала мне еще некоторые сведения технического характера, и я отпустила ее на волю. Агата ушла, а я взгрустнула, собирая на столе бумаги: вот бы с кем дружить – с такой вольной, нестандартной, пронизательной... Не про меня такая честь.

А назавтра я увидела его.

Это было под вечер, когда я уже покинула отдел, унося в сумке новые бумажные доказательства своей близкой свободы: просто открылась дверь, и вошел мужчина. Явно не ко мне, потому что, как на минуту привиделось, это был отец, потерявший единственного ребенка – такая скорбь и ужас стояли в его взгляде. Нет, они пришли вместе с ним, как отдельные живые личности, почти видимые, теперь неотторжимо привязанные к нему.

- Капитан Касаткина... Марина Юрьевна... вы будете? – как через тугой комок процедил слова мужчина.

Чем-то он мне сразу глянулся, хоть и неказистый, маленький, одетый по-дурачки, с перстнем на мизинце – словом из той породы, что я терпеть не могу.

- Я к вам. Я – Олег... Редактор той газеты, которую... Но это не важно. Мне Агата... Агата Нащокина, которую вы вчера допрашивали, рассказала о вас. О том, что вы самый приличный человек из тех, что там были... Единственный приличный... И я ей верю, – хоть и сбивчиво, но внятно и твердо, что выдавало человека с опытом, заговорил он.

- Да вы садитесь, – предложила я исключительно из возраставшей симпатии, хотя должна была его с ходу развернуть: собственно, я теперь даже распоряжаться в этом кабинете имела право лишь по свежей памяти.

Олег сел, вполне владея собой, и я увидела, что передо мной человек, чей кризис уже перевалил, и осталось ровное состояние черной скорби, с которой отныне предстоит жить и сродниться.

- Марина Юрьевна, – медленно начал он. – В моем положении – вы сейчас и сами это поймете – нет места никаким оговоркам и приседаниям. Я знаю, что уголовное дело заведено, и я также знаю, что расследовать его будут весьма формально. В конце концов, докажут какую-нибудь трагическую случайность, чтоб не было «висяка», и сдадут в архив. А может, отловят пьяного бомжа и выбьют из него путаные показания, после чего он вдруг умрет в камере от сердечного приступа...

- Что вы такое говорите... – неуверенно возразила я, теряясь перед его пронзительными глазами, и мой лепет прозвучал весьма наивно, потому что я прекрасно знала о простой правоте моего собеседника.

Он усталым жестом остановил меня, и я неожиданно покорилась.

- Марина Юрьевна, не тратьте слова зря, мы с вами оба знаем, что я говорю то, что есть.

Ответной немотой я невольно подтвердила свое согласие.

- Но, Марина Юрьевна, ее убили. Ее убили – хладнокровно, расчетливо, запланированно. И я ничего не пожалею для того, кто найдет убийцу. Ничего, а возможности у меня имеются: газета, как вы понимаете, была, скажем, для души...

«Ну, возможности действительно могут быть, – рассудила я. – Газетенка-то, небось, была на только для души, но и для отмывания... Или для отвода глаз... Волчара-то передо мной матерый, и очень, очень непростой... Но насчет «убили» – это вряд ли: презирать его шлюшку могли, но чтоб в тюрьму из-за нее садиться... А-а, да что бы там ни было...».

- Олег Александрович, я очень сочувствую вам, – как умела, тепло проговорила я, – но помочь ничем не могу: со вчерашнего дня я уволилась из органов, и сейчас я здесь только ради формальностей. Но все же я уверена, что мои коллеги... – я была уверена в обратном, но надо же подслащивать людям пилюли!

- Кол-ле-ги... – презрительно скривив чувственный рот, отчеканил он. – Значит, никто и никогда. Извините, – он поднялся и молча пошел к двери – твердым властным шагом, расправив плечи, хотя что-то в спине выдавало, что человек просто убит.

Но вдруг Олег обернулся:

– А куда работать переходите?

- Частным детективом... – пробормотала я, прозревая на ходу.

Миг – и он снова оказался у моего бывшего стола:

- Марина Юрьевна, найдите его... Я... я что хотите вам сделаю. Денег дам. Должность достану – какую пожелаете. Я тоже буду искать, зубами буду грызть, но вы – вы знаете, как это делается! И у вас есть голова на плечах. И у вас есть – душа. Я вижу ее, сквозь глаза ваши вижу! Вы найдете его, найдете. Найдете и отдадите мне. Потому что от сотворения мира никто, никого, никогда не любил так, как я любил ее. И люблю. Потому что смерть не властна над любовью.

* * *

То, чего с неприятным трепетом ждала Евгения Иннокентьевна, за чем готовилась зорко следить и направлять мудрой рукою, к чему целомудренно готовила дочь с рождения, – именно это она и проглядела, упустив из виду главное – начало. Дочь влюбилась за год до того, как они вместе решили заняться поисками для нее достойного супруга. И произошло это на предпоследнем курсе, когда, наоборот, следовало подтянуть учебу, не расслабляться, чтоб не закралась вдруг в диплом досадная тройка.

Начала встречаться с парнем, не посоветовавшись с матерью, не приведя предварительно в дом с доверчивым вопросом: «Ну, как он тебе?». И себе самой не могла простить Евгения: под самым носом ведь все было – как недосмотрела? Почему ослабила внимание как раз в эти наиопаснейшие годы, когда требовалось исключительно усилить его, неусыпно контролировать девочку! Опасность именно двадцатилетнего возраста тревожная мать видела в самом простом: на вид-то они все уже «большие», на каблуках, при серьгах – и хотят, чтоб было у них все «по-взрослому»: с мужем, с колясочкой... А на деле-то – девчонки, три года как из школы и от школьниц отличаются только отсутствием формы, а так – те же смешливые дурочки...

«Жених» объявился из самого безопасного места, какое только могла представить Евгения, когда дочь отсутствовала дома вечером: из дома благополучной одногруппницы Ани Тихомировой! Дома, где были мама, папа, машина и собака! Последнее обстоятельство несколько коробило Евгению, но она махнула рукой, как когда-то на не званную в мечту кошку. Маленькому «собачонку» в их доме все равно никогда не поселиться, а заразу Агата, вроде, не должна подцепить: у Тихомировых чисто, и блох у пса, наверное, нет. Сама Аня тоже антипатии не вызывала – хотя, конечно, кто-то и должен был объяснить ей, что ресницы в таком возрасте красить неприлично – да и ни в каком лучше не начинать. «Ты только не вздумай с нее обезьянничать! – на всякий случай наставляла Евгения по вечерам свою дочь, чьи волосы, наконец, отросли и были вновь заплетены и подобраны. – Как начнешь краситься, так уж точно станешь, как все».

Эти два слова – «как все» – в последнее время стали еще одной удобной воспитательной рукояткой. Заметив у Агаты любовь к определенной обособленности, тягу к нестандартным решениям в паре-тройке случаев, Евгения принялась педалировать «особенность» дочери, понемногу прививая ей некоторую брезгливость к общему стандарту.

- Ты в них, как все, – скупно уронила Евгения, когда однажды Агата, отчаянно прокопив полгода, приобрела у фарцовщика ладные синие джинсы «Montana».

С удовлетворением мать заметила, что девочка только пару раз после этого (и то, вероятно, тем самым отстаивая свою независимость) куда-то носилась в джинсах, избегая показываться в них маме на глаза, – а потом одежда незаметно исчезла из дома – была, наверно, перепродана.

Скоро Агата попросила маму поехать с ней в Дом мод «что-нибудь присмотреть», и Евгению порадовало, что, когда она намеренно ступала среди вешалок, давая дочери возможность проявить собственный вкус, та выбрала именно те две вещицы, на которые сразу же пал негласный выбор ее матери. Это была нежная, воздушная блузка цвета сливочного крема, а к ней – строгая коричневая юбка с двумя складками и пуговичкой впереди. «Сюда моя золотая цепочка подойдет», – заметила Агата, еще раз невзначай

потрафив матери. Решив, в свою очередь, сделать дочке приятное, она предложила ей отметить обновки в кафе-мороженом, где они даже позволили себе выпить по сто грамм шампанского – и потом долго сердечно разговаривали за чашкой кофе, полностью вернув в те минуты свое начавшее было ускользать единение.

И вот, пожалуйста. Сопоставив задним числом даты, Евгения оскорблено убедилась, что в тот мягкий зимний вечер, когда под руку, сияющие, как две подружки, они шли после кафе по Большому, несли в пакете Агатины наряды и болтали о чем-то милом и теплом, дочь носила уже в сердце другой, чужой и чуждый образ! И ведь успела уже легкомысленно внушить себе, что именно он и станет навеки единственным!

Агата встречалась с Сергеем Тихомировым, взрослым тертым парнем, вернувшимся из армии, двумя годами старше неопытных девчонок и, конечно, уже вкусившим от грязи какой-нибудь временной любви. А что может сделать грязь? Только запачкать. И как она, Евгения, прохлопала появление голодного самца возле девочки? Она, конечно, знала и раньше, что у Ани старший брат «в армии». Кстати, задавала и вопрос: «Что, любящие родители не могли оградить ребенка от такого ужаса?» – и Аня, как ни в чем не бывало, ответила: «Они собирались, да Сережка сам не захотел, сказал, что каждый настоящий мужик должен армию пройти». Вот-вот, можно себе представить! Именно мужик и вернулся – и надо же, первой женской особью, попавшейся ему по возвращении, оказалась Агата! Именно в тот момент, когда «мужику» только и нужно было найти, куда теперь, на свободе, сбросить бушующий гормон... Почему ей смутно казалось, что «в армии» – это все равно, что «в Африке», а два года службы – чуть ли не смертный приговор? Как она проморгала его появление и не пресекла немедленно все эти дурацкие хождения «позаниматься» в не только не дружественный теперь, но и, можно сказать, заминированный дом! Нет, радовалась, как курица на насесте: ах, дочка подружилась со скромной девочкой – одни мысли об учебе: придут, поедят – и сразу заниматься, заниматься... Так можно и красный диплом получить... И вот дождалась, здрасьте: «Мама, мы с Сергеем любим друг друга и хотим пожениться».

Они любят, скажите, пожалуйста! Ну, у него – понятно: этот... гормон... А ей-то чего приспичило?

Другая мать упала бы в обморок – нет, конечно, сейчас никто не падает, хотя сердечный приступ срабатывает по-прежнему безотказно. Но она до такого не опустится! Не опустится, потому что это будет означать ее полное материнское поражение, педагогический провал. Не зря же она воспитывала дочь двадцать лет такой, какой воспитала: совестливой, открытой, тонкой. И теперь все пройдет: переболели стрижкой, переболеем и Сергеем, все закономерно, только спокойнее... Не сорвись, сейчас можно только лаской, зубы сжать – а лаской... Иначе оттолкнешь, а к кому? Да к нему именно: к доброму «жениху» от злой матери...

- Что ж, дочка, поделаешь... Вот и к тебе пришла первая любовь... Не скрою, я, конечно, от Сергея не в восторге, но ведь тебе с ним жить, не мне, – тебе и решать... Единственное, о чем прошу, – о самой малости: не торопитесь, присмотритесь друг к другу получше. Тебе ведь еще полтора года учиться! И ему, кстати, тоже надо куда-то поступать, не нужен ведь нам муж без высшего образования! Работать и учиться на вечернем? Гм... А где же он будет работать без образования? На заводе? Но там, знаешь, опасно: среда затянет. Мужчины вообще легко поддаются: пьянка, другая, глядишь – и уже ничем от работяг не отличается... Лучше бы ему на дневное поступить, отучиться, а потом и пожениться... Кстати, и чувства его проверишь... Если любит, будет хоть десять лет ждать и пальцем до тебя не дотронется... А если бросит, значит, ты только для одного ему и была нужна... Человек, когда любит, – он все преграды одолеет. Помнишь, мы у Куприна читали, как Иаков служил Лавану за Рахиль семь лет – «и они показались ему как семь дней, потому что он любил ее»? Приводи его в дом почаще, надо нам с ним ближе знакомиться – все-таки, будущие родственники...

Агата, ожидавшая от матери лекции на тему «Тебе надо учиться, а не о женихах думать», обрадовалась, услышав из ее уст то, что по неопытности приняла за благословение, и Сергей – большой, застенчивый, напоминающий циркового медведя, появился в доме уже на следующий день.

Евгения была ошеломлена и подавлена, потому что навязываемый «зятьек» при ближайшем рассмотрении оказался даже хуже самых мрачных ее предположений. Он говорил односложно, низким голосом, оскорбляя его звучанием самой утонченной атмосферы их дома, – казалось, что даже хрусталь в серванте позвякивает!

- Ты обратила внимание, как грубо он у тебя рычит? Прямо неприлично, – тихонько заметила она дочери.

Необразованностью он тоже поражал: ничего не слышал, например, о Набокове – только смущенно, потупившись, слушал ее оживленный и полный юмора рассказ о странной причуде гения скакать с сачком за совсем не красивыми бабочками, потому что они редкие, – это с его-то высокомерием, свержпородистым лицом и статью...

- Передала бы ты Ане, что брата нужно как-то просвещать, он же просто валенок, – бросит она на днях между делом.

Когда юношу попросили посмотреть и, по возможности, исправить текущий бачок в туалете, он беспомощно развел руками:

- Я и к унитазам-то заново привыкаю, Евгения Иннокентьевна! У нас там ведь просто две дырки рядом были... – и это за столом, при невесте!

- Ничего никогда по дому делать не научится, такой же косорукий, как твой отец, – не стерпев, шепнула она Агате на ухо, едва Сергей отвернулся.

После того, как все выпили по рюмочке домашней наливки, зажатость юноши под оком будущей тещи несколько ослабела, и он начал довольно раскованно рассказывать о минувшей службе в армии, о маленькой секретной точке в тайге, где было их «шестеро и прапорщик», и часто приходила медведица – просто из любопытства, и солдаты ее даже подкармливали – а прапорщик все равно застрелил, хоть она и мирная была; и ему, Сергею, было ее так жаль – ну, прямо, как человека: получилось ведь, что предали, почти приручили – она зла не ждала, а прапор ей пистолет в ухо...

«Господи, совсем не соображает, что говорит! Девочке ведь такое и слышать невозможно!».

- Если бы он тебя действительно любил, то щадил бы твои чувства, – пробормотала Евгения себе под нос, в то время как увлекшийся Сергей рассказывал о том, как раз в две недели им спускали с вертолета еду, а однажды позабыли. Стояла зима, связь плохая, так что только через десять дней удалось сообщить о голоде – а до того они ходили в тайгу охотиться, только, слава Богу, никого не подстрелили, а то он бы есть все равно не смог; так и дотянули на чае и горстке перловки...

Вообще, как и многие недоразвитые люди, Сергей «любил» животных, радовался встрече со своим на два года оставленным псом-овчаркой Роем ничуть не меньше, чем встрече с родителями и сестрой, и все время говорил о нем («Рой такой умный, что если бы он заговорил, я бы не удивился»), что доказывало, по мнению Евгении Иннокентьевны, его вопиющую близость к животному. Она даже вынуждена была тактично, со смешком, предложить ему с его интересами поискать себе невесту среди ветеринаров, а не филологов:

- Мы с Агатой всегда считали, что человек должен, в основном, общаться с себе подобными, а животные несут, так сказать, утилитарные функции: мясо, молоко, шерсть, перевозка грузов...

- Охрана, – нестати подсказала Агата, словно допуская наличия у животных чего-то вроде личных качеств.

- Ну, если животное, – намеренно не произнесла «собака», – выращено в питомнике и соответствующим образом выдрессировано, то почему нет, – с нарочитым равнодушием отозвалась Евгения.

Взгляд Сергея впервые тревожно метнулся на Агату: согласна ли она с таким мнением матери, не будет ли против драгоценного Роя?

Конечно, будет, дружок, конечно, будет – дай только срок...

- Мы с Агатой, – подчеркнула она, – разумеется, вполне терпимо относимся к «братьям меньшим», но предпочитаем наблюдать их издали, причем, чем дальше, тем лучше...

Когда Сергей собрался уходить, Агата чуть не бросилась провожать его – понятно, хотела смягчить впечатление – но Евгения твердым взглядом остановила неразумную дочь: во-первых, пусть он это впечатление унесет с собой и хорошенько переварит, а во-вторых...

- Мне даже смотреть больно, как ты висишь на нем – точь в точь эти твои простецкие девчонки на своих парнях. Ни на секунду не вспомнила об элементарной девичьей гордости: с каких это пор девушка чуть ли не ночью бросается провожать молодого человека?

И только теперь, месяца на три позже, чем следовало бы, она дождалась от Агаты тех заветных слов, свидетельствовавших о доверии к материнскому мнению:

- Мам, ну как ты его находишь?

Неразумная мать тут же бросилась бы поносить того неотесанного мужлана, которого сегодня имела неудовольствие лицезреть, но не такова была Агатина мама:

- В целом, ничего: не пьет, я вижу, не курит, может, и неплохой малый, может, и удастся из него слепить что-то приемлемое... А пока, конечно... Гм, даже руки не знает, куда девать... Нет, армия, конечно, – это мясорубка, и целыми из нее не выходят. И потом, какая примитивность мышления – ты заметила? Медведи, собаки... Ты что, за неандертальца собралась? Он вообще читать умеет? Странно, по нему не скажешь...

- Мама, но он ведь добрый, хороший!

- Хороший-то хороший... Но что-то мне показалось, что он с некоторым удовольствием рассказывал о гибели медведицы... Не скрывается ли жестокость за этой «хорошестью»?

- Ну, мама!

- Кроме того, мужчина должен быть с руками – что толку, что добрый, если краны текут...

- Но он научится!

- Будем надеяться, будем надеяться... Одно хорошо – что свадьба не завтра, а через несколько лет... – она произнесла последнее ровным, само собой разумеющимся тоном, как дело, давно совместно ими решенное...

И плоды своих ненавязчиво-осторожных фраз Евгения начала пожинать обнадеживающе скоро. Настояв на том, чтобы молодые виделись, в основном, у них дома, за чуть приоткрытой ею, как бы невзначай, дверью Агастиной комнаты, она уже нередко слышала оттуда слегка раздраженный звонкий дочкин голосок:

- Сережа, я не понимаю, как можно было не прочитать такой известной книги!

- Послушай, ты хоть о чем-нибудь, кроме своего Роя, можешь поговорить?

- Ты вообще на медведя стал похож с этими лохмами – сходил бы в парикмахерскую!

И совсем уж материнские постулаты:

- Мужчина должен быть с руками, а ты и гвоздя прибить не можешь!

- Ты, наверное, меня не любишь, если не щадишь мои чувства!

Евгения тихо улыбалась: кризис болезни под названием «Сережа-Медведь», кажется, переваливал. Правда, ее иногда настораживала внезапная тишина, воцарявшаяся в комнате, и сердце падало: целуются! Строгая мать постучала бы в дверь, призывая к порядку, но Евгения, сжав зубы, заставляла себя смириться: каждой девушке приходится через это пройти до свадьбы, тут уж всякая позволит, потому что боятся, дурочки, что без этого сбежит ненаглядный. Совсем не ценят себя. Счастье, что Агата твердо воспитана в таком духе, что совсем уж не уступит, – ведь перспектива «остаться наедине со своим горем и позором» всегда виделась ей самым страшным, что только может быть в жизни...

Не ежевечерне, чтоб не показаться слишком навязчивой и не побудить замкнуться, но раз-другой в неделю обязательно вызывала Евгения дочь на задушевный разговор, всегда начиная его чем-то особо располагающим, вроде: «А вот еще помню, когда была молодая...». Далее рассказывалось что-то, как правило, забавное, но поучительное, свидетельствующее об абсолютной невинности ее отношений с юношами, а заодно и о том, каким, собственно, должен быть идеальный влюбленный: трепетным, почтительным, бескорыстно готовым на любой подвиг во имя возлюбленной, – но при этом настроенным исключительно платонически.

- Подвернула я как-то раз ногу в турпоходе – несильно, в общем, и, при желании, сама бы идти могла. Но решила схитрить, проверить его чувства. Думаю: что станет делать – до станции-то далеко! И, знаешь, он даже не колебался: подхватил на руки и понес. Так и нес до самой платформы – и меня, и рюкзак, мне даже стыдно немножечко стало: ведь нога-то почти не болела уже...

- А что ж ты за него не вышла? – задавала Агата естественный вопрос.

- Так ведь рано еще было... Я, вот как ты сейчас, на предпоследнем курсе была, – пожимала плечами Евгения с любимым ею «само собой разумеющимся» выражением, применяемым, когда требовалось внушить дочери, что поступить иначе – противоестественно.

- Если он так любил тебя – что же не дождался? – пыталась въедливая дочь.

- Ну... его папа был военный, и они уехали в Казахстан... А уж в Казахстан я, конечно, и сама не захотела, – поясняла мать, мимоходом иллюстрируя свое негативное отношение ко всяким там попыткам повторения подвига декабристов. – А кстати, как Сергей – поступать, наверное, всю готовится, не до встреч с тобой стало?

И на завтра слышала через дверь:

- Ты все со мной, да со мной, Сережа... А ведь тебе поступать летом, пора бы и готовиться... Да и у меня сессия на носу...

«Теперь уж вынуждены будут пореже видеться, потом она на практику уедет, а письма, звонки – это уже не то... Глядишь, и сойдет на нет...» – удовлетворенно размышляла по ночам Евгения.

Но после лета дочь вдруг замкнулась, чего раньше с ней почти не случалось. Не приходила по вечерам возбужденная, с порога начиная стрекотать: «Знаешь, мы с ним сегодня были... А он так смотрел... И я подумала... А он и говорит... А я потом Аньке звоню и рассказываю... А он трубку от нее отнимает... Я сначала не знала, что ответить, а потом решила... Так что завтра мы, наверное... Как ты думаешь, стоит?».

Теперь Агата возвращалась задумчивая, на тревожные расспросы отвечала печальным «ничего особенного» и «все нормально», на вкрадчивое: «Поссорились?» качала головой, а к телефону сама купила длинный шнур и стала утаскивать их старенький черный аппарат в свою комнату, где дверь неизменно плотно закрывалась, и разговоры велись приглушенно и сдавленно... Дочь, ее юная девушка с косой, вдруг напрочь отсекала мать от своей жизни одним ударом! А ведь раньше и с Сергеем, и с подружками разговаривала в коридоре звонким голосом, и, положив трубку, потом еще озвучивала для матери то, что произносилось на другом, невидимом и неслышимом конце провода. Евгения не могла не раздражаться:

- Представь себя на месте человека, который в это время пытается до нас дозвониться по важному делу...

Мимоходом бросала за ужином:

- Я, конечно, ни во что не вмешиваюсь, но хочу сказать, что если проблемы начинаются так рано, то в дальнейшем они будут только нарастать.

Со дня на день Евгения ожидала, что вот-вот Агата переполнится переживаниями, такими новыми и сокровенными, что с ними просто не к кому идти, кроме как к матери, – и сладко разрыдается у нее не груди, сквозь всхлипы поведав о первом девичьем разочаровании, и они просидят за серьезным разговором, быть может, даже до утра, а

потом мать уложит заплакавшую дочку, позволив той разок пропустить занятия. Когда та проснется, над глупой историей о первой любви опустится надежный занавес, и с тех пор в жизни Агаты уж не будет легкомысленных нелепостей. Получив урок последствий своеволия, она впредь всегда будет доверять материнскому опыту!

«Помнишь, ты уже раз поступила по-своему, нашла кавалера без моего совета... И что из этого вышло? Повторить хочешь?» – с полным правом станет произносить Евгения в будущем, когда заметит в дочери желание совершить очередной неразумный, губительный шаг. Так что теперешние девичьи слезы, возможно, в чем-то и полезны – ведь они приведут Агату к неизбежному выводу: «Если б я больше слушала маму и не ввязалась в эту глупую историю, то...». То диплом, например, был бы без троек. Все-таки еще во время летней сессии, кое-как спихнутой во время зряшных свиданок, затесались сразу две, доказав лишний раз обратно пропорциональную зависимость успеваемости от любовных коллизий. Так что Евгения наблюдала за тщательно скрываемыми страданиями дочери с некоторым вполне простительным злорадством, не представляя себе, что самый черный день в ее жизни, подобный взрыву ядерной бомбы в отдельной человеческой судьбе, уже приближается, как комета Галлея.

Наши очень черные, как и очень белые дни, как правило, не посылают предвестников. То, что постфактум мы выдаем за предчувствия – дурные или благоприятные, пока не случилось «оно», вовсе нами не замечается. Только после, оправившись от горя или опомнившись от счастья, мы начинаем задним числом подмазывать картину жизни, придавая ей нужные тона: «А как раз накануне я потеряла обручальное кольцо!». Сотни тысяч людей его теряют, покупают новое и дальше живут себе спокойненько в счастливом браке – но если на завтра узнаешь об измене мужа... «Тем утром, идя на работу, я увидела белого голубя, сидящего на ограде, и сразу подумала, что случится что-то хорошее...». Да уже человек сто видели тем же утром того же голубя, но все о нем благополучно забыли, потому что никто не получил *того* письма. Так и Евгения рассказывала подругам еще долгие годы:

- В тот день у меня с самого утра все падало и билось, падало и билось... Сначала бабушкина чашка с надписью – даже не пойму, как из рук выскользнула. Потом перед работой в магазин за молоком побежала, да на обратном пути чуть под машину не угодила! Она из подворотни выскочила на полной скорости... Я уж не помню, как и увернулась, а пакет с бутылками – бряк! – и ни одной целой не осталось... Потом, когда на работу уж вышла, два раза возвращаться пришлось. Сначала конспект лекции забыла, а потом проездной... Так и было до вечера нехорошо на душе – все думалось, что с Агатой, не дай Бог, что-нибудь... Тем более, что девчонки из ее группы сказали, что в институт она не приходила. И точно, вечером сижу дома, сердце не на месте, слышу – ключ в двери поворачивается... И как-то так он поворачивался, что у меня на секунду сердце остановилось, честное слово... Выхожу в прихожую, ноги подгибаются, а там она вдвоем с этим... своим... И взгляд чужой, темный, словно и не моя родная дочка, а...

На самом деле все было несколько иначе. Бабушкина чашка вовсе не выскользнула из рук сама собой, а Евгения столкнула ее со стола локтем, неловко повернувшись. Через это – чашка была красивая – Евгения заработала себе плохое настроение, потому что дочь, которой можно было сказать: «Сто раз просила: не говори мне под руку – нет, лезешь...», упорхнула из дома, когда мать еще спала. Под машину Евгения действительно чуть не попала, и, когда та промчалась мимо, она вдруг, под влиянием мгновенного шокирующего испуга со всех сил швырнула сумку с бутылками оземь по принципу «пусть еще хуже будет», а потом дома, взвинчено бегала по комнате, хватая и бросая вещи, раскидывая одежду – и в таком состоянии действительно забыла переложить проездной из плаща в пальто и сунуть в сумку конспект, вчера лениво пролистанный перед телевизором.

Что касается «чужого» взгляда Агаты, то он, скорей всего, горел пламенем решимости – таким именно, как когда она четыре года назад объявила, что пойдет не в учителя, а в журналисты. В то время пламень был умело потушен, но теперь такой возможности не

представлялось, потому что рядом с дочерью стоял ее новый авторитет по имени Сережа – и у Евгении вдруг появилось ощущение, что она проглотила что-то очень холодное, и оно в желудке все никак не согревается...

- Мама! Не ругай нас! – не заметив, что впервые перенесла это «нас» на свое единство с кем-то посторонним, – звонким надломленным голосом заговорила дочь. – У нас уже все решено, и ничего нельзя изменить. Мы с Сергеем решили соединиться сейчас и строить свою жизнь вместе. Не отговаривай: заявление давно подано, и свадьба первого ноября (было двадцать четвертое октября). – Я знаю, ты спросишь, почему я с тобой не посоветовалась. Но я советовалась – ты просто забыла. И ты мне высказала свое мнение – что нужно ждать несколько лет. Но мы – мы любим друг друга сейчас. Мы уже давно вместе и проверили свои чувства. И поэтому я решила не слушать на этот раз твоего совета, а послушать свое сердце... Я... Мы... – щеки ее пылали, глаза горели, к горлу явно подкатывал ком, и она, наконец, сбилась. – Мы не захотели ждать, пока все перегорит... Мы уже даже начали ссориться... И мы поняли, что если... Ну, если все так и будет продолжаться... То мы расстанемся... Поэтому срочно надо пожениться... И вообще... Короче... Хороша ложка к обеду, вот! – выпалила Агата под занавес, позабыв о том, что она не стилизованная крестьянка из бездарных книжек, чтобы к месту и не к месту вставлять в свою речь поговорки вместо, например, афоризмов Грибоедова.

«Может, еще не поздно?! – всколыхнулась в Евгении надежда. – Сейчас простейшей логикой разбить все эти ребячьи бредни...».

Усилие, которое она сделала, чтобы взять себя в руки, было поистине страшным: только глубоко вонзив ногти в ладони, она смогла не измениться в лице и ответить почти не дрожащим голосом:

- Это... Это, конечно, неожиданность, ничего не скажешь... Но об этой... неожиданности, в любом случае, придется поговорить, – и сразу же она поймала гордый взгляд, исподтишка брошенный Агатой на жениха: мол, вот, ты боялся, что мамочка сейчас проклянет нас и выгонит из дома, а она вон какая! – и сердце чуть отпустило.

За чаем говорила только Евгения. Об ответственности и безответственности. О юношеской незрелости и проверенных чувствах взрослых людей. О долге перед родителями. О явных противоречиях в намерениях Агаты и Сергея – о роковых противоречиях! «О, безумцы! Вы решили пожениться, чтобы не расстаться, – это ли не дикость?!». Дети сидели притихшие, опустив глаза в чашки с остывшим чаем, и Евгении стало казаться, что она начинает одерживать победу:

- Давайте с вами договоримся, установим определенный срок. Например, день получения Агатой диплома. Твоего диплома, Сергей, понятно, еще минимум пять лет ждать... – (тот поступил на вечернее отделение Института Культуры, а работать устроился оператором котельной: сутки бездельничал там, а трое – дома). – Но уж хотя бы Агатино дождемся! И в тот день, когда он будет у Агаты в руках, если вы придете ко мне и скажете, что вы по-прежнему хотите пожениться, я ни слова против не скажу! И твои родители, Сергей, с которыми я теперь обязательно тесно подружусь, я уверена, того же мнения... – дети обнадеживающе молчали. – ...Итак, мы сегодня договорились, что пройдем испытательный срок, и решили... – уже осторожно закрепляла победу Евгения, когда Сергей вдруг отодвинул чашку нерезким, но уверенным жестом:

- Позвольте вас перебить, Евгения Иннокентьевна. Мы ни о чем сегодня не договаривались и ничего не решали. Просто моя невеста и я, сколько могли, слушали ваш монолог. И остались при своем мнении. А наше мнение таково: все должно быть гармонично и вовремя. Любовь мужчины и женщины должна закономерно вести к браку и созданию семьи... А если к этому есть препятствия, то из-за затянувшегося периода ухаживания внутри пары возникает... напряжение... дисгармония... которую можно устранить лишь вернувшись в естественное русло... Поймите, конфликт между духовным и физическим неизбежен, если два взрослых человека ходят за ручку, вместо того, чтобы... начать брачные отношения. Поэтому мы с Агатой и решили, что...

Евгении сначала хотелось ехидно спросить: «И где же ты такую чушь вычитал?», но, сама себя испугавшись, она неожиданно взвизгнула:

- Хватит! Ты что, думаешь, я не вижу?! Я-то прекрасно все понимаю! Девчонке легко голову задурить, но мне-то не пой эту песню! Это тебе, тебе одному необходимо «соединиться в браке»! Она-то что в этом понимает! Тебе что, девок мало, которые с тобой без всякого брака «соединяются»?! Зачем тебе обязательно надо развратить Агату – она ведь ребенок еще! Пользуешься тем, что она малолетка несмышленная, и забиваешь ей голову порочными теориями! Нездоровыми философиями! А как получишь свое – так только тебя и видели! А ну-ка, вставай и – вон из нашего дома! Сейчас же! И чтоб духу твоего здесь больше не было! Жених, тоже, свалился на нашу голову...

- Тогда мы уходим вместе! – пискляво вставила вдруг ее дрожащая соплюха, вроде бы, поднимаясь с места.

- Сидеть! – рывкнула Евгения не хуже тюремной надзирательницы, и Агата как миленькая плюхнулась на свое место.

- Очень жаль, Евгения Иннокентьевна, что мы с вами друг друга не поняли, – спокойно вставил мерзавец. – Хочу только напомнить вам, что Агата не «малолетка несмышленная», а взрослая женщина двадцати одного года, которая заканчивает институт и вполне сама может распоряжаться собой, а поэтому...

- Сама?! – вскричала несчастная без пяти минут теща. – Не она собой распоряжается, а ты ею распоряжаешься, дурой! Вертишь, как хочешь!

- А поэтому, – неумолимо продолжал наглый самец, надежно, похоже, прибравший к рукам молоденькую дуреху, – поэтому, думаю, мы с Агатой правильно решили, что будем жить отдельно от всех родителей. Мы уже договорились о съеме комнаты – именно с первого ноября. Мы считаем, что так будет меньше конфликтов.

- Что-о?! Какую еще комнату?! В коммуналке?! – взревела Евгения, едва не теряя сознание.

- Да, – безжалостно подтвердил Сергей, – и не видим в этом ничего ужасного. Ведь многие семьи начинали с нуля, а потом все получалось...

- Само не получится! – крикнула она.

- Ну, разумеется... Люди работают, учатся, поддерживают друг друга... Так и мы с Агатой намерены жить. И когда вы увидите, что вашу дочь не серый волк унес, а она вышла за нормального мужчину, то вынуждены будете признать это и повернетесь к нам лицом...

- Никогда, никогда... – стонала Евгения, как под пыткой.

«Как жаль, что я не умею играть... Обязательно сфальшивлю... Как бы хорошо сейчас – «скорая», больница, капельница... Рыдающая дочь у постели матери: «Мамочка, прости!!! Мамочка, я никогда так больше не буду!!!». Свадьба отменяется, передачи в больницу, потом дома – многонедельный уход: «Мамочка, ну, что мне сделать, чтоб ты скорее выздоровела?!». Поступают же так другие матери – и спасают детей от трагедии. А я всегда думала, что это пошло... А лучше б не думала, а репетировала! А теперь поздно... Господи, что делать?!» – рваными клочками носило перед ней обрывки мыслей и образов. Евгения осела на диван и, глядя в пространство стеклянными глазами, хрипло прошептала:

- Вот, как ты меня предала... Не ожидала... От тебя – не ожидала... Думала, кто угодно – но не родная дочь... А ты предала... Все пустила под откос... Все... Что ж... Ничего... Теперь мне уже все равно... Осталось недолго потерпеть... А там... – Евгения махнула рукой, тотчас безвольно упавшей, и по ее лицу заструились светлые освобождающие слезы.

Предала! Из-за угла, исподтишка, с первым встречным! Что она недосмотрела, что упустила? Можно легко понять детей, бегущих от родительского произвола и диктата, от жестокости и насилия, наконец, но это же не их случай! Она ведь никогда не наказывала Агату – даже такими невинными мерами, как лишение кино или сладкого, а уж о том,

чтобы руку поднять на девочку, и думать без содрогания не могла. Особенно когда видела, как в школе забитые дома дети отыгрываются на тех, кто слабее... Она всегда действовала только непреодолимой силой убеждения, все негативные поступки дочери пропускала через призму ее же совести – и совесть сама, без материнского участия наказывала провинившуюся. Оттого и вырос, казалось, человек тонкий, с ранимой, обнаженной душой, знающий, что такое боль, и оттого причинить ее другим неспособный. И вот, пожалуйста: первые брюки встретились на жизненном пути – и она хладнокровно, цинично плюет в душу матери, топчет идеалы... Откуда? Наклонности, передавшиеся с той, закрытой, стороны? Катерина, не успев умереть, воплотившаяся в племянницу? Неужели порочные гены – это то, что нельзя преодолеть ни воспитанием, ни положительным примером? Разве она не хотела дочери счастья в браке, хотя сама и потерпела на этом пути крушение? Разве не прививала ей мужской идеал, к которому нужно стремиться и целомудренно ждать его через годы? Петр Гринев, Андрей Болконский... – и кого она предпочла! Неотесанного мужлана, вчерашнего солдафона, без профессии, с сомнительным будущим и животными инстинктами! И почему совершеннолетием считается самый глупый возраст – восемнадцать лет? Ведь любой взрослый скажет, не колебаясь ни секунды: восемнадцать лет – это ребенок, дитячко, ровно ничего в жизни не смыслящее, но громоздящее в воспаленной фантазии утопию на утопию! А им дали право говорить родителям: я совершеннолетняя, имею право! Это совершеннолетие для девочки должно начинаться не раньше двадцати пяти! Чтоб без маминого разрешения не наломала дров, не покалечила свою и чужую жизнь (дети, брошенные в роддомах и безотцовщина – это все оттуда, от совершеннолетия в конце детства)... И ничего, ничего изменить невозможно! Что же делать? А что ни делай – напрасно. Уперлась, хочет поскорей продемонстрировать «взрослость» и независимость, поиграть словом «муж», посверкать обручальным колечком, а потом что? Что разведенные – второсортный товар, – о том и не думает, что теперь никакой Болконский и в сторону ее не посмотрит, и судьба ей – либо по рукам, либо ущербный какой-нибудь мужчина не первой молодости... Хорошо, хоть институт пока не бросает, как некоторые...

Так, обхватив голову руками, рассуждала про себя на десять лет за одну ночь постаревшая Евгения Иннокентьевна.

- Мама, ты ведешь себя, будто у нас не свадьба предстоит, а похороны! – упрекнула ее дочь между делом, вертясь перед трюмо в новых туфлях из «Юбилейного».

- Бывают такие свадьбы, что не лучше похорон... Не такой я хотела для дочери! – скорбным голосом отозвалась мать сквозь слезы, что бежали у нее из глаз уже сутки и все никак не останавливались...

Терзало еще и то, что молодые не попросили у нее ни копейки на торжество, а устроили его, в основном, на зарплату Сергея, недостающие деньги взяв у его родителей. Те дали, а как же: такую фею удалось оторвать для своего охламона-недоумка! Сгоряча Евгения собралась было вовсе проигнорировать эту обезьянью свадьбу, но потом решила все же не наносить такой удар по дочери: надо быть выше, мудрее... Пусть узнает, почем фунт лиха, что уж поделаешь, – а потом все равно прибежит к маме, выплечется, и все будет по-старому. Может, и вообще ее все эти «женихи» интересовать перестанут. В коммуналке решила пожить, самостоятельная стала, надо же! Как там у Высоцкого – «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная»? Ну, ничего, пусть помоем эту самую уборную в очередь – может, тогда войдет в разум...

Свадьбу играли в небольшом кафе, где через знакомых новоявленной сватки удалось недорого снять зальчик под торжество. К тому времени Евгения уже встряхнулась, перестала лить нескончаемые слезы, поставила в известность некоторых родственников. Они, разумеется, услышали совсем не то, что немногочисленные друзья семьи, а заранее проработанную официальную версию благополучного и вполне одобряемого матерью замужества дочери: «Агаточка делает прекрасную партию, ее жених – будущий режиссер.

Семья его вполне состоятельная, снимают для свадьбы роскошное кафе. Молодые решили жить отдельно, но это и к лучшему, пусть приучаются к самостоятельности, не все же их за руку водить... Да и вообще это теперь среди золотой молодежи модно...».

Но себя обмануть упорно не удавалось.

- Мамочка, ну, давай помиримся, – подлизалась к ней Агата накануне свадьбы. – Я ведь замуж выхожу, за любимого... Неужели ты мне счастья не хочешь?

- Хочу, но не такого, а настоящего, – честно призналась Евгения, впрочем, помириться согласилась, прекрасно понимая, до чего смешно выглядят «непримиримые» родители, все равно подмятые и сломленные эгоистичными детьми...

*

И во всем, в конечном счете, Евгения оказалась права – настолько, насколько всегда бывают правы матери, выдавая девочек за неподходящих мужчин.

Русский человек ни с друзьями, ни с родителями радостью делиться не привык. Разве что похвастаться успехом или обновой – но то хвастовство и самоутверждение, свойственное каждому. А вот радостью как эмоцией, да с фактами, окрашенными в цвет радуги, делиться нам несвойственно: все хорошо – и слава Богу. Но вот закралась «на тонких плюшевых ногах» к нам... большая проблема, или даже рухнула на голову во время персонального землетрясения – и русский уже мчится к кому ни есть близкому, чтобы поделиться, отломить кусочек лакомства: чего-чего, а этого добра не жаль. Помощь хочет получить, совет? Ну, помощь еще можно принять, если уж очень настойчиво предложат, а уж совет – это извините. Нужно просто высказаться, отправить неприятность хоть в воздух – глядишь, а она уж и не такая неприятная. А тот, к кому пришли «делиться», вовсе не думает о том, что кто-то попросту сваливает в его доме, как в помойке, отходы жизнедеятельности души, а, наоборот, считает своим долгом расчистить для этого подходящее местечко, чего от него, собственно, и ждут, а не каких-то там идиотских советов. Поэтому никогда и не привется в России профессия психоаналитика: все мы сами прекрасные психоаналитики – и себе, и окружающим.

Потому после разговоров с замужней дочкой и складывалось у Евгении впечатление, что жизнь ее взбунтовавшейся Агаты в коммунальной квартире без горячей воды, с дикарем-мужем похожа на безостановочный кошмар. Ведь не говорила Агата, что живут они, в целом, весело, все время принимают гостей – знакомых Сергея – людей интересных, необычных, каких она раньше не только не видела, но и о существовании их в середине восьмидесятых не подозревала: думала, что такая популяция, блеснув в конце Серебряного века, канула в Лету сразу после революции, и реанимации не подлежит...

Агата не сообщала матери в ответ на ее встревоженный вопрос: «А что вы едите?» – что питаются они часто вообще на бумажках, причем, иногда едят руками, что скучное слово «обед» давно покинуло их лексикон, а четырехлитровая кастрюля борща, лишь единожды ею добросовестно и по всем правилам сваренная, была съедена многочисленными гостями через сорок минут, и с тех пор молодая хозяйка решила больше не заморачиваться. Она говорила маме: «Питаемся нормально», вызывая у той разъедающие подозрения. Зато о неприятных моментах рассказывала щедро, как это обычно принято среди женщин, что немедленно создавало у Евгении впечатление, будто дочь угодила в капкан и нуждается в немедленном спасении:

- Никак не могу приучить Сережу убирать за собой после еды. Поест, встанет и уйдет, а на столе – свинарник...

- Разбрасывает одежду по комнате, грязную вперемешку с чистой, а я только тем и занимаюсь, что сортирую...

- Заставить его трусы-носки свои постирать – проблема, приходится самой...

- Друзья придут, и сидят, и болтают, и на гитаре играют до ночи, а я спать хочу. Прошу Сережу их вежливо домой отправить, а он мне – мол, терпи, они же друзья... Ага, терпи, он завтра будет спать до вечера, а мне в семь вставать...

- Кофточку мою любимую, кремовую, ту, что мы с тобой, помнишь, в Доме мод купили, носить не разрешает, говорит, что я в ней на старую деву похожа...

- Ему женские голоса по телефону звонят, он с ними по часу разговаривает, а мне говорит, что это творчество и чтобы я не вмешивалась.

- Спектакль какой-то в институтском театре собирается ставить, в кафе со студентками-актерками его часами обсуждает, а на меня огрызается...

- У меня экзамены, а заниматься негде и некогда: дом на проходной двор похож...

Евгения слушала и испытывала двоякое чувство: с одной стороны, ей было совершенно очевидно, что дочь попала в маргинальную среду, где ее здоровье, психика, честь, а, возможно, и жизнь подвергаются непрерывной опасности, и необходимо ее спасти, вырывать из лап этого подонка, явно покотившегося по наклонной плоскости: не вызывают, например, сомнений его постоянные измены с кем попало – того и гляди, венерической болезнью заразит! Агата ведь, несмотря на свое замужнее состояние, еще абсолютно невинна и не замечает, как вокруг нее сгущаются тучи, – а когда грянет гром, ведь поздно будет! С другой стороны, такое положение дел долго продолжаться не могло, а значит, Агате предстояло скоро не выдержать и вернуться домой, где любящая мама всегда сумеет зализать ей раны и помочь начать новую жизнь без всяких там Сергеев. «Ну что, – спросит она дочь, когда все будет позади. – Хлебнула самостоятельной замужней жизни? Понравилось?». «Хлебнула, – обреченно ответит та. – Даже вспомнить страшно». И они заживут, как раньше, – душа в душу, рука об руку, а дальше уж как получится...

Через два месяца после свадьбы Евгении суждено было получить еще один чувствительный удар – да такой, что ей вдруг показалось... Показалась ужасная вещь, а именно – что она больше никогда не сможет любить дочь так, как раньше.

В тот день, жестоко промучившись дочерним горем (именно так она теперь назвала для себя ее замужнюю жизнь), Евгения твердо решила, что пора, наконец, начинать брать под контроль всю эту самостоятельность, чтоб не завела она дочь невозвратно далеко. Для начала следовало провести инспекцию нового жилища – как она называла его, «медвежьей норы». Захватив с собой в пакете моющие средства, губки, перчатки и прочее потребное, Евгения решительно направилась в гости, уверенная, что санитарное состояние дома требует немедленного вмешательства, и готовая оказать любую жертвенную помощь.

В коммунальную квартиру, близнеца всех подобных квартир в старом фонде, вела узкая изгибчивая лестница в чисто раскольниковом духе, да еще и подниматься по ней пришлось в полной темноте, потому что окна в подъезде если и были, то вели в глубокий и гулкий колодец двора. На звонок открыла прозрачная бабуля из серии одуванчиков – только глаза у нее в полутьме коридора светились клиническим сумасшествием: такая зарубит топором и не задумается, а потом сядет вышивать розочки... Пока Евгения шла по коридору к указанной комнате (разумеется, самой последней, у туалета), ей попались на пути два образа, заслуживающих не то великого пера, не то психбольницы: мужчина в семейных трусах, серой от грязи майке, с единственным длинным зубом в неожиданно ангельской улыбке и бледно-серебряным нимбом вокруг головы; а также томная дама в кимоно, но обутая в черные, не менее сорок пятого размера, бутсы, громыхавшие по дощатому полу... Испуганная Евгения принялась барабанить в дверь дочери – и сразу ей открыл некто патлатый, в рваном свитере грубой вязки, в джинсах, не подлежащих уже ни починке, ни стирке, – и лишь через несколько смутных секунд ей удалось отождествить данную персону со своим зятем. Евгения сомнамбулически вошла и увидела свою дочь в углу, на матрасе, застеленном стеганым одеялом, сидевшую по-турецки с книжкой. Волосы, ее чудные длинные волосы, которые мать так заботливо отращивала и расчесывала, вновь были безжалостно обрезаны до плеч и не собраны, а болтались, точно как у тех девиц, что по вечерам давятся со своими временными кавалерами в очередях у всяких там гриль-баров... Книжки разбросаны были прямо по полу, грудями громоздились

на столе рядом с нарезанной на бумаге и так оставленной колбасой по соседству с открытой кефирной бутылкой. Судя по всему, супружеская чета только что отужинала и теперь питалась духовной пищей.

- Привет, мама... – растерянно кивнула Агата.

Евгения и сама поразилась, сколько раз за последний проклятый год ей приходится серьезно брать себя в руки.

- Вот, значит, как живете... – сумела спокойно констатировать она.

- Живем, как умеем и как нам нравится, – сухо ответил зятек.

«Нет, голубчик, это тебе нравится, а моей дочери такое понравиться не может...» – подумала Евгения, а вслух дружелюбно сказала:

- Я пришла посмотреть, как устроились, и помочь, чем могу, – а то все вы да вы ко мне в гости.

- Конечно, смотри, мама, – пролепетала дочь, и зять через силу выдавил:

- Смотрите, все видно... Агата, чайник поставь.

Первым делом Евгения шагнула к холодильнику. Так и есть: ни одной кастрюли, только два каких-то серых свертка и открытая консервная банка, зато бутылок пива – четыре, рядом... Конечно, и сомневаться не приходится: сам спивается и ее спаивает. Нет уж, пора с этим так называемым браком заканчивать – тут уж все средства хороши, когда дочь спасаешь... Она выпрямилась, наскоро готовя в голове победительную речь. Например, что-то вроде такого: «Вот что. Теперь, я думаю, ты уже доросла до понимания того, что так жить невозможно и противоестественно. Люди так не живут: дальше падать уже некуда. Поэтому собирай сейчас же все, что тут лично твое – не думаю, что очень много – и пойдем, наконец, домой... Я готова тебе простить эту ребяческую ошибку и помочь начать жизнь заново: светлую, чистую, человеческую жизнь...» – но раскрыть рот Евгения так и не успела, остановленная диким, ни в какие ворота не лезущим вопросом зятя:

- Вы всегда в гостях по чужим холодильникам лазаете?

«Нет, ну каков хам! Он, еще мне, кажется, замечания делать намерен!» – возмутилась Евгения и гордо ответила:

- Я не в гостях, а к своей дочери, между прочим, пришла. А вас, молодой человек, – раньше она обращалась к нему «ты» и «Сергей», но теперь решила положить конец фамильярностям, – я попрошу не вмешиваться в то, что вас не касается.

- Вы не у своей дочери, а у нас, – не сдавался он. – Да если бы и у дочери, то и она – не ваша собственность.

Евгения решила не опускаться до перепалки с этим случайным ничтожеством и повернулась непосредственно к Агате, суетливо расчищавшей на столе место для намечавшегося семейного чаепития:

- Так, Агата... Я вижу, что происходит, не волнуйся... Скажи, что именно я должна сделать, чтобы помочь тебе вырваться отсюда? Чем именно он тебя здесь держит? Почему ты еще не дома? Вставай и пойдем, наконец: сама же видишь, какая жестокая реальность встала за твоими фантазиями...

- Но... – пробормотала дочь, бегая глазами. – Ничего особенного не происходит... Никуда не нужно идти... Мне... Нам хорошо здесь... Мы...

- Хватит! – властно оборвала мать. – Я не знаю, что ты себе внушила – или тебе внушили – но нормальному человеку не может быть здесь хорошо. Если ты будешь продолжать это утверждать, то я, знаешь, могу подумать, что ты сошла с ума... Но в таком случае тебя нужно лечить.

- Немедленно прекратите провоцировать мою жену! – на повышенных тонах заговорил наглец. – Если вы пришли к нам в гости, то и ведите себя, как в гостях, а не устанавливайте свои порядки и не пытайтесь нас посорить. Мы вас сюда, в любом случае, не приглашали.

- Агата! – вспыхнула Евгения. – Почему ты позволяешь этому типу оскорблять твою мать в твоём присутствии – и молчишь?!

- Потому что ты пытаешься разрушить нашу семью... – сама краснея от стыда за эти возмутительные слова, вложенные ей в уста, без сомнения, так называемым мужем, проямлила Агата, уставившись в пол.

«Против матери настроил, совсем совести нет!» – озарило Евгению, но сразу же она осознала свою беспомощность, смешанную, вдобавок, с удивлением: почему? Каким образом? Как мог этот чужой человек, о существовании которого дочь не знала еще год назад, созданный словно нарочно вопреки всему тому, что обе они любили, о чем мечтали, заставивший Агату переступить через идеалы, вкусы, воспитание, перевернувший ее жизнь вверх тормашками, – почему он все еще остается для нее авторитетом – даже оплевывая ее мать у нее на глазах, даже посягая на самое святое? Почему дочь не бежит от него с ужасом и отвращением, а, как попугай, повторяет его безобразные слова? Почему в угоду ему согласилась изуродовать себя внешне и внутренне? Что же это случилось, как с этим жить дальше? Может, лучше умереть?

И вдруг, в этот самый неподходящий момент, перед глазами Евгении одна за другой стали вспыхивать и задерживаться на секунду-другую живые картинки из Агатино детства – не те, что обычно стремятся родители запечатлеть на пленку как вехи возмужания дитяти. Не бесполого еще карапуза в обнимку с ритуальным синтетическим медведем; не взволнованную первоклассницу с пошлым венником гладиолусов в руках; не свежее испеченную пионерку на крейсере «Аврора» – с лицом, перекошенным от бьющего прямо в глаза солнечного света; не у традиционного котелка ухи в школьном турпоходе (все равно в ухе больше костей, чем рыбы, и есть ее впоследствии невозможно); не в первом взрослом платье на выпускном балу – все это и другое, подобное, уже было превращено в глянцевые фотографии, подклеено в толстый альбом зеленого плюша и подписано. Нет, оскорбленная мать неожиданно увидела моменты как бы и забытые, ни разу не вспомненные – но, как оказалось, в неприкосновенности сохраненные сердцем...

Вот в жаркий полдень Агата уплетает мороженое – она почему-то больше всех любила фруктовое, ядовито-розового цвета, стоившее семь копеек и вовсе не содержавшее молока. Ей всего три годика, на ней платьице точно в цвет мороженого, с желтым котенком на груди, и она не так давно выздоровела после простуды. Мороженое отправляется в рот на деревянной палочке кусками, которые кажутся Евгении огромными, и она, испуганная, хочет остановить Агату, заставить ее есть понемножку, но знает, что сделать это можно, только отобрав стаканчик от девочки, – и не решается лишить ее радости первого после болезни любимого лакомства...

А вот на праздничном утреннике в детском саду Агата танцует в паре с неловким мальчиком Сеней давно разученный народный танец – Бог весть, какого народа! – и десяток шелковых разноцветных ленточек развеивается на обруче вокруг ее головы. Вместе с другими родителями Евгения хлопает в такт движений потешной пары, но вместо гордости и радости испытывает стыд и досаду – до того нелепой кажется ее обычно хорошенькая дочка в этом странном национальном костюме и с угловатым, все время наступающим ей на ноги партнером. Спустя полчаса Евгения узнает, что тот танец был чем-то вроде подвига Агаты: перед утренником она почувствовала себя очень плохо, на лице и теле вскочило несколько нестерпимо зудевших прыщиков, отчаянно хотелось лечь и не шевелиться, но ради отрепетированного танца и предвкушаемого триумфа она никому не сказала о недомогании. В результате, прямо после выступления Евгения увезла дочь на такси в полубессознательном состоянии, заболевшую ветрянкой...

А вот Евгения, стоя по пояс в тогда еще кристальной воде залива, смотрит не на Агату, важно плывущую в маске с трубкой, а на ее радужную тень, волшебным скользкую по рябому дну над круглыми пестрыми и полосатыми камешками, белыми и розовыми глазками ракушек... Немного позже в тот день у соседской девочки уплывет маленькая черепаха, уплывет прямо в открытое море со скоростью небольшого крейсера, и Агата,

высоко вскидывая округлые загорелые ноги, будет мчаться за ней по мелкой воде, и хохотать, и падать, вздымая тысячи бриллиантовых брызг, – и так, разумеется, чужую неблагодарную черепаху и не догонит.

Подростком она полюбила собирать грибы, и сейчас Евгения увидела, чуть ли не подряд, будто несколько кадров веселого фильма про агатин грибной азарт: свою дочку то задком вылезающую из-под суровой ели, таща сразу несколько заборных боровичков, то вдруг восторженно заворковавшую, неожиданно набредя на янтарную россыпь лисичек в ярко-зеленом, открыточном мху, то деловито извлекающую один за другим из канавы налитые подосиновики совершенно неприличной формы, о чем ребенок, конечно, не подозревал...

И та девочка, ожидавшая от жизни одних радостей и вполне их достойная, совершенно не могла оказаться вот этой неопрятной девицей, что поднялась сейчас с грязного матраса, брошенного на пол, и пресмыкалась перед каким-то первобытным дикарем, по недоразумению оказавшимся ее мужем, – и явно была намерена напоить собственную мать подозрительным чаем из мутных граненых стаканов...

Все это выглядело каким-то надругательством, глумлением ребенка над родителем, не имело права происходить – но происходило, и именно с ней...

И Евгения ощутила себя почти королем Лиром...

- Чай готов... – испуганным шепотом сообщила дочь.

«Да какой там чай... До дома бы дойти, а там...».

Глухим голосом человека, только что испытывавшего ни с чем не сравнимое разочарование, но решившего стойко принять все, что пошлет судьба, она проговорила:

- Что уж теперь... Здесь вот я принесла... Жидкость для окон... Хотела окна вам помыть... И пол... И... И...

- Спасибо, – холодно произнес победитель. – Мы пока зарабатываем на моющие средства. Оставьте себе, вам тоже может пригодиться.

И Агата не остановила его, а молча стояла у голого стола с тремя сиротливыми стаканами – и все не поднимала глаз.

Следующие два месяца Евгения прожила с ощущением, что в ее жизни произошла трагедия, утрата, которую предстоит переживать, как смерть близкого, ею до сих пор не пережитую. Сестер и братьев у Евгении не было, а родители благополучно здравствовали в Норильске, куда в молодости поехали подзаработать, – а после возвращения выросшей дочери в родной Ленинград, остались на привычном уже Севере, пользуясь железным здоровьем и льготами. Поэтому настоящего горя Евгения еще не знала (расставание с давно вычеркнутым случайным мужем в счет не шло), и поступок Агаты поверг ее за грань ранее незнакомого отчаянья – но весной сразило новое известие. Агата ждет ребенка! Услышав из уст дочери эту потрясающую новость, Евгения пробыла несколько минут в тяжелом психологическом шоке – но неожиданно почувствовала, как словно разжалась чья-то жестокая лапа, до того постоянно сжимавшая ей сердце. Кровь вольно заструилась по жилам, омыв организм до самых отдаленных капиллярчиков, а в душу снизошла лучезарная радость.

С этой минуты Евгения знала твердо: ей удастся отстоять жизнь и счастье дочери. И речи не может идти о том, чтобы ребенок оставался в антисанитарных условиях «медвежьей берлоги»! Значит, хотя и в конце беременности, но Агата вернется под материнский кров – и только Агата: в их крошечной квартирке такой крупный мужчина как Сергей не поместится, им дышать из-за него нечем станет. Придется, конечно, разрешить ему посещать Агату и ребенка – на первых порах, пока будет требоваться чисто физическая помощь. Но уж безо всяких там ночевков, конечно, чтоб не привыкал, что здесь, якобы, его дом... А там, глядишь, и сойдут на нет все эти свидания-посещения, и совсем недалеко окажется воплощение в реальность той ее давнишней заветной грезы, где они уже будут неразделимы в родном триединстве...

Разговор с зятем об Агатином переезде Евгения провела в ее отсутствие, пожаловав к Сергею в час, когда безусловно знала, что дочь в институте. Вопреки ожиданиям, Сергей легко согласился с проектом тещи, все повторяя, что самое главное теперь – это не носиться с идеями, а оберегать от тревог Агату и маленького, предоставив им все максимально возможные удобства и заботу.

«Конечно, теперь-то она ему неинтересна, когда беременна! А ребенок вообще обузой станет. Знает это, негодяй, и хочет спихнуть обоих заранее... Каков!» – Сергей, при всем его прозрачном лицемерии, был перед ней, как на ладони.

Новый удар подстерегал Евгению в тот день, когда она отправилась вместе с дочерью в женскую консультацию: надо же было проверить, кто ведет беременность, – вдруг там бревно с глазами? Но доктор оказалась на вид очень интеллигентной и внимательной, она тщательно занималась с Агатой, доброжелательно отвечая на все вопросы будущей бабушки. Вполне успокоенная Евгения уже вышла из кабинета, и только тогда ей ударило в голову: срок беременности подозрительно большой! Она замерла посреди коридора, закрыла глаза, изо всех сил подсчитывая... «Ах, вот оно что! Эта сволочь надругалась над моим ребенком еще за месяц до свадьбы! И несчастная девочка оказалась припертой к стенке своим позором! Но, гордая, не захотела в этом признаться! Он ее, наверное, изнасиловал, вынудил, пригрозил! Конечно, – разве могла она по своей воле решиться на такое – Бог знает с кем, Бог знает где... Боже мой, почему она ничего не сказала?! Да в суд на преступника этого надо было подать и посадить лет на десять... Растлить ребенка! Жизнь искалечить! Ах, скотина, скотина...» – Евгения почему-то воспринимала Сергея не как Агатиного ровесника, а как хорошо пожившего, истасканного мужчину средних лет.

- Мам, ты что? – тормозила тем временем Агата. – Почему ты вдруг остановилась? Тебе нехорошо? Пойдем, мам...

В приливе бурных чувств Евгения обняла дочь за голову и притянула к себе:

- Ничего, моя маленькая, ничего... – прошептала она, смаргивая набегающие слезы. – Все будет хорошо, я тебе помогу... Вместе вырастим нашу крошечку... Полностью, полностью на меня рассчитывай...

- Ну конечно, мам... Я всегда знала, что ты такая... – смущенная и растроганная, прошептала Агата – и с тех пор они, разъединенные было вторгшимся в их жизнь недоразумением, стали вновь быстро возвращаться друг к другу.

Рождение внучки (огромные от испуга глаза Агаты после первых схваток, белая машина у их подъезда, тонкая рука, вцепившаяся в ее руку, иступленный шепот: «Ну скажи, мама, ну скажи, что все будет хорошо!»), четыре часа душераздирающих метаний Евгении в полутемном приемном покое – а зятек, разумеется, где-то шлялся и ничего не знал – улыбка пожилой милой нянечки: «Поздравляю, девочка родилась...»), сияющая Агата в дверях роддома, беззащитный кулечек, перевязанный широкой розовой лентой) только скрепило союз матери и дочери. Евгения решила назвать малышку Эльвирой, Элечкой – Сергей, естественно, попытался восстать против чудного, воздушного, как эльф, имени, предлагая превратить новорожденную фею в простонародную Аньку. Но тут уж Евгения обезоружила его убийственной логикой:

- Что же это, по-вашему, выходит, молодой человек! Агата девочку мучительно вынашивала, отказывая себе во всем, потом рожала – между прочим, в таких муках, какие вам и во сне не приснятся – теперь кормит, пеленает, ночей не спит – и не может даже назвать ребенка, как ей нравится? А вы, простите, получили одно удовольствие, когда ребенка... делали, а теперь хотите получить второе – назвать по-своему? Вы вообще во что-нибудь Агату ставите, или нет?

- Я только хотел сказать, что имя бы лучше русское выбрать... В России ведь живем... – стал было защищаться Сергей, но не очень настойчиво.

- Какая разница, где мы живем? Важно, чтобы имя было редкое, красивое и благородное. А всякие там Таньки, Маньки... На каждом углу... Правда, Агата?

- Эльвира – это красиво... – рассеянно улыбнулась дочь.

Она в тот момент кормила грудью, и глаза ее на приятно округлившемся лице глянули тихой ласковостью.

- Ну, если тебе нравится... – нагнулся к ней с поцелуем муж, и Евгению передернуло: что за бестактность – лезть с поцелуями к кормящей матери – неужели не подождать, пока закончится это таинство, словно сошедшее с картин Леонардо...

- Совершенно тебя не уважает, – констатировала Евгения, когда дверь за Сергеем закрылась.

Он вообще теперь появлялся не особенно часто, прикрываясь тем, что «учится» и «работает», а когда не делает ни того, ни другого, то занимается «творчеством» согласно будущей «профессии»: ставит где-то какие-то «пьесы» по собственным «сценариям», якобы для того, чтобы зарабатывать деньги для семьи. Смех, да и только! Деньги, которые он приносил жене, можно было спокойно не принимать в расчет: зарплаты Евгении со всеми положенными надбавками хватало на непритязательное содержание дочери и внучки, а уж годика через два, когда Агата пойдет работать в «их» школу... Можно будет после развода лишиться его отцовства и от алиментов отказаться, чтобы не попрекнул потом, что, дескать, «кормил». Видали мы таких кормильцев!

- В няни пригласим бабу Лену, соседку, – рассуждала Евгения за вечерним чаем. – Она сразу, как только Элечка родилась, это предложила, да я ответила – мол, подождите, баба Лена, вот через годик-другой Агата выйдет на работу – тогда с удовольствием. А в школе тебя ждут не дождутся. Все звонят мне и спрашивают, когда же наша Агата вернется в новом качестве. Кстати, сначала, как молодая мама, ты сможешь брать неполную нагрузку. Так постепенно втянешься, а там посмотрим...

- Но Агата вовсе не собирается в учителя, – ни к селу, ни к городу вставил вдруг Сергей. – Она уже давно решила, что не будет работать по специальности. Мои друзья обещали помочь ей попробовать себя в журналистике. Диплом у нее филологический – подойдет. Она ведь совсем неплохие статьи писать научилась, толковые такие – вы просто не знаете! Какой из нее учитель, ей явно журналисткой быть, у нее же талант!

- Сказали бы уж сразу – проституткой. Тоже древнейшая профессия, – презрительно прищурилась Евгения.

Сергей вспыхнул, но она вмиг его охладила:

- А вам уже, как будто, и пора, молодой человек. Здесь вам не ночлежка.

Он перевел взгляд на жену, отчаянно ища у нее поддержки, но та увлеченно давила в чае ягоды из варенья и ничего не слышала. И никогда не услышит, потому что оказалась перед очень уж определенным выбором: выступить единым фронтом с матерью или встать на сторону этого легкомысленного богемистого недоросля и тем второй раз оттолкнуть мать, свою единственную защиту и тыл, опять лишиться всего, променять... на что? Не пойдет больше на это Агата, проиграли вы, молодой человек, не удастся вам сломать жизнь девочкам – теперь уже двум.

Когда Сергей все-таки приходил к ним – со своими жалкими деньгами или неуклюжей помощью – Евгения все чаще слышала не мягко упрекающий, как раньше, а дышащий почти ненавистью голос дочери из-за двери:

- А тебя никогда нет! Тебя вообще нет! Если бы не мама, я бы совсем одна билась, а у тебя, видите ли, творчество, что тебе до нас!

- Я здесь, как проклятый, меня твоя мать ненавидит! – умело «переводил стрелки» злодей.

- А за что ей тебя любить? За что?! За то, что она все твои обязанности на себя взяла?! – надрывалась сквозь слезы Агата.

Все было уже ясно, и упреки бесполезны, и слезы не нужны: Сергей доживал последние дни в их жизни.

В начале июля, когда Элечке только что исполнился годик, Агата вдруг, выбежала, рыдая, навстречу вернувшейся с работы матери:

- Мамочка, сделай что-нибудь! Я не могу! Я умру!!!

Сердце Евгении на миг остановилось, потому что, как и всякая порядочная бабушка, она подумала, прежде всего, о несчастье с внучкой – вообще-то, здоровой и крепкой девочкой, развивавшейся точно по календарю грудного ребенка. Но сразу выяснилось, что Элечка мирно спит в коляске на балконе, чмокая пустышкой и выставив умильные пухлые лапки.

Причина слез Агаты оказалась весьма прозаической: Сергей, не сказав никому ни слова и, естественно, не посоветовавшись с женой и тещей, под шумок перевелся для дальнейшей учебы в Москву, на дневное режиссерское отделение печально знаменитой низкими нравами «Щуки», скрыл ото всех подробности этой своей нелепой авантюры, а жить намеревался в пустой квартире родного дяди, вовремя уехавшего в длительную загранкомандировку. Как выяснилось, Сергей пришел уговаривать Агату забрать ребенка и ехать с ним в Москву – не иначе, жить втроем на сорок рублей стипендии. Агата растерялась, обезумела и голосила теперь скорее от неожиданности, чем от горя.

- Он не только мерзавец, сломавший тебе жизнь, а еще и авантюрист. Счастье, что мы от него избавились, – спокойно, как о свершившемся факте, сказала Евгения, впервые назвав все вещи своими именами вслух и получив от этого едва ли не физическое удовольствие.

- Но как же я без него?! – прорыдала Агата.

- Как и всегда, – пожалала плечами ее мать. – Можно подумать, что сейчас ты с ним. Раз в неделю видеть или никогда – какая разница?

- Агата, подумай, наконец, своей головой! – гаркнул вдруг Сергей.

- О чем мне думать?! О том, чтобы поехать с грудным ребенком в неизвестность?! Без денег? Без работы? Без помощи? Только потому, что так удобно – тебе?! Потому что ты все провернул без моего согласия?! Поставил меня перед фактом?! Ты будешь жить в свое удовольствие, творить, а я – расшибись, да?? Так?! – проявила, наконец, какую-то рассудительность Агата. – Ты всегда только о себе думал, а меня считал бесплатным приложением! Никогда не любил, только пользовался! И уезжай в свою Москву! Пожалуйста! Убирайся! Подумаешь, гениальный режиссер! Никто о тебе не пожалеет, никто, никто!!! – захлебнувшись, она рухнула в кресло у двери, закрыв лицо руками.

- Слышали, молодой человек? – сочла нужным поставить точку Евгения. – Счастливого пути.

- Вы... – обернулся к ней зять. – Вы...

У него сделалось такое выражение лица, что Евгения похолодела: ей показалось, что Сергей сейчас не то что ударит, а просто развернется и одним махом снесет ей голову.

- Вы – дрянь... – прохрипел он. – Такая дрянь, какая редко бывает... У-у... Су-ука...

Евгения отшатнулась. В кресле замерла оторопевшая Агата, уставясь на мужа потемневшими от возмущения глазами:

- Зверь... – прошептала она ему тихий приговор.

- Идиотка!!! – рявкнул «зверь» ей в лицо – Позволила этому трактору себя переехать! Кура безмозглая! Да эта гадина... твоя мать... как удав, душит все живое вокруг! Без разбору! Все жрет и не давится! Спихватись – бери Эльку и приезжай, адрес знаешь... Но ты не спихватись... Не дадут. Тебя тут, как бабочку на картонке, пришилили... – он свирепо оборотился к Евгении: – Будь ты проклята, поняла? Будь проклята... – и он прибавил гнусное, непроизносимое слово, охарактеризовавшее его самого лучше всякого самого длинного обличительного монолога.

Хлопнула дверь – да так, что упала, вдребезги разбившись, фаянсовая стенная тарелочка.

- Ну, видела теперь? – торжественно обернулась мать к потрясенной, онемевшей дочери. – Видела, каков он на самом деле, твой избранничек? Ну, и как тебе его истинное лицо? Вернее, свиное рыло, а? Не желаешь к нему в Москву перебраться?

- Ненавижу его... – мелко затряслась перед очередным приступом истерики ее несчастная дочь. – Ненавижу... Изверг проклятый, что сделал с нами!!! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!

...Но недолго уже оставалось каждому русскому интеллигенту рыдать над собственной мелкой бедой, потому что на голову всей нации упало новое российское приключение под названием «девяностые годы» – и тут уж пришлось не только их маленькой семье, но и всем честным людям бороться не за какое-то призрачное личное счастье, о котором лет десять и мечтать-то казалось смешным и непристойным – но за собственное выживание, за спасение жизни и здоровья детей во внезапно съехавшем с оси, ставшем враждебным и опасным мире... Ведь поругивая перед приемником на кухне советский строй, никто всерьез не думал о том, что же делать, если вся эта махина действительно рухнет – а рухнуть она могла только на головы гражданам...

Врач и учитель – вот только две интеллигентные профессии, обладатели которых, по мнению Евгении, могли не бояться голода. Как же хвалила она теперь себя за то, что помогла дочери выбрать такую завидную в новых условиях специальность! Они смогли выкарабкаться. Взяв по полторы ставки и до полуобморока репетируя двоичников по вечерам, они сумели не сорваться в пропасть. Но у этих двух женщин было главное – семья и уверенность друг в друге, а маленькая девочка Элечка, подрастая и все больше напоминая эльфа, соединяла через свое маленькое и пока беззаботное сердечко их усталые взрослые сердца – матери и дочери, спаявшихся за трудные годы воедино настолько, что они научились понимать друг друга по стуку сердца... Жизнь постепенно налаживалась, не тревожа их ни старыми призраками, ни бесплодными мечтаниями: место в жизни было надежно обретено, а цель ее известна и благородна.

Часть II

Я долго ее ненавидела. Почти с того самого момента, как добрая женщина рассказала мне о том, что произошло на самом деле. А с десяти до шестнадцати лет я честно считала, что мама умерла от сердечного приступа, до которого довел ее «этот негодяй». Но через пару недель после получения моего первого паспорта я случайно столкнулась в универсаме с ее бывшей подругой. До сих пор не могу решить для себя – правильно ли поступила она, когда там же, около холодильника с целым паноптикумом пятикратно замороженных пернатых, эмоционально выложила десятикласснице уродливую подноготную смерти женщины, с которой все-таки подружилась не менее пятнадцати лет.

Возможно, подруга эта, к тому времени расплывшаяся до неприличия, обремененная нелюбимой семьей, но обреченная пахать на нее, опухшая и озлобленная тетка, решила быстренько сфабриковать кого-то реального, про кого бы точно знала, что отныне и его жизнь – не сахар. В мире всевозрастающей мерзости таким образом можно было получить возможность утешиться простой и приятной мыслью: «Я-то что, а вот бедная Мариночка, Валькина дочка... Вот кого пожалеть нужно: как-то ей живется с такими мыслями о родной матери...».

До того дня я хранила в секретере мамину фотографию, мысленно советуясь с ней в трудные детские минуты, хотела быть достойной мамочки и так же гордо носила свое сиротство, как иные женщины, возведя покойного супруга в ранг местночтимого (в семейной епархии) святого, потом красиво вдовеют, вычеркнув из памяти тот прискорбный факт, что сами же и сжили покойного со свету.

Еще бы! У всех подружек были мамы – норовистые кобылы или тупые коровы с перманентом и облупленным маникюром, сварливые, все расширявшие круг запретов. От этих мамаш надо было прятать косметику, постоянно придумывать, что им соврать о причине опоздания; они раздавали кто – пощечины, кто – подзатыльники (в зависимости от социальной принадлежности), жаловались отцам, чьи воспитательные методы

сводились к лаю и мордобою; строили каверзы и чинили препоны свиданиям и свадьбам с избранниками... А у меня имелся десяток-другой художественных фотографий, прикрытых калькой, в тисненых рамках – фотографий изысканной девушки-дамы, то укутанной искрящимся белым мехом, то в маленькой фетровой шляпке с букетиком на ленте, то сияющей эмалевой улыбкой и ослепительными плечами из охапки или даже целого куста роз... Мама любила и умела фотографироваться, сочиняла неумелые, но пронзительные любовные вирши, которые я в подростковом возрасте даже пыталась положить на музыку.

– *И не даст ни выкупа, ни платы/За один далекий час весенний/Та, чью жизнь постигли две утраты:/Двух любовей – первой и последней,* – трогательно пели мы с подружкой на чьем-то дне рождения в девятом классе.

Мама работала машинисткой на дому – то есть, была полностью свободной, неплохо, по советским меркам, зарабатывающей женщиной, не имевшей возможности только позволить себе отрастить модные длинные ногти – но она и без них прекрасно обходилась. Судя по дате в блокнотике, куда она с семнадцати до двадцати девяти лет (возраста смерти) заносила свои стихи, то самое стихотворение про последнюю любовь было написано в возрасте ее двадцати двух и моих трех лет – в пору, когда мама начинала свой короткий, но бурный путь напрямик в могилу. По всей видимости, она была честным человеком, моя мама, – и каждого мужчину, попадавшегося ей в жизни, любила как первого и последнего. И того, кому в девятнадцать лет написала: *И чем безвозвратней с тобой расставаньё,/Тем крепче любовь, тем скуднее желанья* (подозреваю, что это и был мой отец, с которым мама состояла в браке долгих два месяца), – и адресата последнего стихотворения, заканчивавшегося словами: *На пороге тьмы или двери рая/Мне б успеть за твою подержаться руку...* – в этом последнем было ей судьбой отказано. Думаю, что всех остальных, послуживших туманными полустанками между роскошными вокзалами Первого и Последнего, она любила с тою же щедростью сердца.

Все-таки мне было уже десять лет, когда мама исчезла из моей – и всякой – жизни, и я успела кое-что запомнить, например, афоризм, совершенно не лишенный логики и здравомыслия: «Не важно, кто первый, важно, кто последний» – до сих пор я не сомневаюсь в абсолютной правильности этого постулата.

Она считала совершенно необходимыми две вещи: водить меня в театр и кормить яблоками. Первый виделся ей вместилищем всех искусств (что отчасти так и есть), а вторые – панацеей от всех болезней. «An apple a day keeps a doctor away» – яблоко в день держит врача на расстоянии – так, примерно, переводится ее любимая английская поговорка – любимая и единственная, потому что в школе мама изучала немецкий, а после нее закончила только краткосрочные курсы машинописи.

Я ходила в детский сад, потом – на продленку после уроков, а в это сугубо дневное время мама занималась устройством своей никогда не устраиваемой личной жизни и мимоходом – поисками «отца для ребенка». К чести ее, нужно сказать, что кандидаты в отцы мне не навязывались и слишком часто на глаза не попадались: все дела с ними мама решала в мое отсутствие, и вечером я могла застать «дядю» разве что за чаепитием с конфетами, после чего он сразу же прощался. Никто никогда в моем присутствии не оставался ночевать в нашей комнате, поэтому моя психика всегда была избавлена от возможной травмы... Дядя за чаепитием периодически менял рост, комплекцию, цвет волос и глаз, мое общение с ним было ограничено настолько, что я не успевала ни привязаться к нему, ни возненавидеть, – и жизнь моя текла ровно и спокойно, тем более что с детским садиком и его обитателями, а позже со школой мне повезло. Правда, может быть, это им повезло заполучить в свое лоно такого способного и коммуникабельного ребенка, каким была я.

Из родственников в городе имелась у нас только прабабушка – баба Таня – а маминны родители погибли вместе за год до моего рождения – в уже было благополучно

произведем вынужденную посадку в Семипалатинске, но неожиданно вспыхнувшем пассажирском самолете.

Прабабушку – задумчивую и немного свихнутую, как мне тогда казалось, мы с мамой аккуратно навещали два раза в месяц, как и положено, с тортом и бутылкой легкого вина. Торт съедала я, а вино выпивала мама, потому что бабушка-фронтовичка всем сладостям и изыскам упорно предпочитала фронтвые сто грамм и соленый огурец на закуску.

Именно прабабушка и спасла меня от отправки в детдом после того, как мама скоропостижно скончалась от инфаркта, узнав, что ее жених, которого она полюбила, наконец, всем сердцем, параллельно встречается еще с молоденькой девушкой...

Такова была официальная версия трагедии под названием «Жизнь и смерть Валентины Неждановой». Другую версию, весьма упрощенную, но гораздо больше похожую на правду, я выслушала сентябрьским днем в универсаме, вцепившись обмороженными пальцами в край глубокого открытого холодильника, где на дне были кое-как навалены синие трупики кур, выставившие скрюченные в предсмертной судороге рябые желтые лапы с грязными когтями.

Согласно этой версии, моя мать Валентина отличалась неразборчивой тягой к мужскому полу чуть ли не с детского сада и, будучи еще даже не подростком, а маленькой девочкой, общалась с невинными мальчиками-увальнями при помощи ухваток матерой проститутки. Классная руководительница даже советовала Валиной маме проконсультировать девочку у врача на предмет половой ненормальности. Та с возмущением отказалась, находя у дочери только стремление скорей повзрослеть, а взрослость, по мнению маленькой девочки, заключалась в том, чтобы «иметь много поклонников». В результате получилось, что в том возрасте, когда девочки обычно только лишь заканчивают играть в куклы и впервые задумываются о форме собственного носа, Валя уже всю «путалась» со старшеклассниками, а к тому времени, когда кое-какие из ее одноклассниц купили свою первую в жизни помаду, она уже «прочно пошла по рукам». Моего отца, парня из хорошей семьи, однажды поддавшегося на ее развратные заигрывания, Валентина методично женила на себе, когда забеременела, но при этом она вовсе не собиралась начинать разумную семейную жизнь, а лишь имела цель временно прикрыть свой срам статусом замужней женщины. Позже она рассчитывала, получив развод, а вместе с ним и официальное позволение жить, как заблагорассудится, примкнуть к рядам порядочных женщин, у которых просто не сложилась семья. Так что своим появлением на свет я обязана не неземной любви родителей, как мне внушалось, а холодному расчету развратной женщины – и никто так никогда и не понял, почему она не отказалась от меня еще в роддоме. Постановили, что Валентина побоялась всеобщего осуждения и решила все же поиграть для окружающих роль нормальной матери, на самом деле вовсе себя ею не отягощая. Удачно сплавив меня в ясли-садик и приобретя неприятную, но востребованную и хлебную профессию, Валентина на свободе предалась любимому пороку. Ни один мужчина больше не смотрел на нее как на возможную жену, все знали ей цену с первого дня романа и едва ли не передавали из рук в руки по взаимной договоренности. Это не могло не оскорблять самолюбивую Валентину, всегда много о себе воображавшую благодаря умению лихо накропать чувствительные стишата. Неудовлетворенность отношениями породила в ней вздорность, истеричность и экзальтированность, но чем яростней пыталась она доказать каждому встречному и поперечному, что достойна чего-то большего, чем скоренький перепахон в обеденный перерыв или по пути домой, тем убедительней доказывала свою никчемность во всем, что не касалось постельных утех. Тогда Валентина задействовала тяжелую артиллерию, заключавшуюся в непреклонном ультиматуме: «Не женишься – отравлюсь!». Застрасав этим очередного мимолетного любовника, она вынудила его ретироваться даже раньше, чем он сам собирался... Невообразимыми истериками, подкарауливанием у дома, угрозами и клятвами ей удалось вырвать у него согласие явиться к ней «для серьезного разговора» в середине рабочего дня – и она решила пойти ва-банк. В ожидании

возлюбленного Валентина написала ему убойное прощальное письмо (позже приобщенное к уголовному делу) и минут за пятнадцать до его предполагаемого прихода (что тоже было потом подтверждено судмедэкспертизой) проглотила полную упаковку сильнодействующего снотворного. Расчет был довольно примитивным: увидев ее при смерти и прочитав предсмертную записку, он почувствовал бы себя палачом и поверил в силу ее чувств; конечно, и «скорую» вызвал бы безотлагательно. Откачать Валентину вполне успевали: в этом она убедилась, изучив предварительно медицинский справочник, где даже оставила закладку на соответствующей странице – словом, к этому акту драмы готовилась она вполне основательно. Притвориться отравившейся, разыграть спектакль, на что она всегда была мастерица, на сей раз казалось невозможным – все должно было быть абсолютно взаправдашним: и синюшное лицо с закатившимися глазами, и белая машина с красным крестом, с воем летящая по городу, и задумчивый врач в опущенной маске, серьезно беседующий в коридоре с виновником попытки самоубийства... Она не имела права проиграть! И все таким и оказалось – абсолютно правдивым. Потому что невольного палача совершенно неожиданно задержало начальство, которое вообще в тот день не предполагалось на работе, и он опоздал более чем на два часа, придя к Валентине тогда, когда все меры по ее спасению результатов уже дать не могли... Так и погибла она глупой безобразной смертью от собственной руки, хотя помирать вовсе не собиралась, а планировала начать новую беспечную жизнь... Над ее гробом никто даже не всплакнул, включая прабабушку (меня на похороны матери не повели, опасаясь травмировать), а лейтмотив, звучавший над ней вместо невозможного отпевания, был самый уничижительный: «Несчастливая дура!» – и ни одного слова добрее этих не произнесла ни одна из малочисленных родственниц и знакомых...

Я едва отодрала онемевшие пальцы от железной ямы, поросшей белым льдистым мхом.

- Ты уже не маленькая, можно и правду знать! – победоносно провозгласила моя просветительница.

Ей досталось редкое зрелище – наблюдать за человеком, у которого за несколько минут рухнула надежная система жизненных опор и установок на будущее, и он повис между небом и землей, как висельник в петле. Добрая женщина сполна насладились произведенным эффектом и, выполнив свой долг, удалилась, толкая мощным животом дребезжащую железную тележку. Я стала бессмысленно мыкаться по залитому мертвенным светом залу, десятки раз минуя одни и те же заставленные никому не нужными банками полки, полностью позабыв о том, что наказывала купить баба Таня, – и так вернулась домой с пустой авоськой и блуждающим взглядом. Рыдая, кинулась на свою кровать и между взрывами рыданий, сквозь икоту поведала обо всем бабе Тане, чем принесла ей немалое облегчение: поначалу старушка испугалась, что меня изнасиловали. Но баба Таня не зря провела три с лишним года во фронтовой разведке – там ее навсегда отучили миндальничать: раненых достреливали в затылок, ибо тащить их на себе означало обречь на гибель всю разведгруппу. Поэтому в ответ на мои судорожные призывы: «Ну, скажи, что это неправда!» она без раздумий пальнула в упор:

- Разумеется, правда. Раз уж нашелся человек, который тебе все рассказал, то и я врать не стану: все так и было, а то, что тебе раньше говорили – так это расписной гроб.

- Гроб? – не поняла я.

- Ну да, только не наш, а древнеиудейский. Пещера то есть. Внутри лежал и вонял разлагающийся труп, а снаружи все было заделано и красиво раскрашено. Так и у тебя – все эти Валькины блокноты со стихами и фотографии из салонов. А на деле – так шалавой жила и по-шалавски сдохла. А сопли эти ты давай утри, потому что ее давно зарыли, как собаку, и ни одной слезы и сопли она не заслужила...

Прабабушка моя была женщиной с принципами. Она очень любила, например, рассуждать о политике, причем делала это абсолютно открыто, благо возраст подарил ей возможность не бояться больше никогда и ничего. Кроме того, она давно уже отбоялась, отлюбила и умерла – на войне, поэтому могла беспретно заявлять о своей ненависти к

Ленину и существующему строю, а также о нежных чувствах к Сталину – и Иисусу Христу. Она состояла в Коммунистической партии с тридцать седьмого года и при этом, нимало не мучаясь ни раздвоением личности, ни угрызениями совести, регулярно, как на уплату членских взносов, ездила в собор Николы Морского.

Вера ее возникла и укрепилась на войне, куда она попала уже взрослой разведенной женщиной, и которая отняла у нее по очереди двоих детей: они умерли с интервалом в сутки от скарлатины, подцепленной в эвакопоезде на Ярославль. Осталась у нее только большая дочь, ставшая впоследствии моей бабушкой и сгоревшая в том злополучном самолете... Ища смерти, баба Таня (тогда еще Танюша) записалась добровольцем на фронт и, как знавшая немецкий, вполне здоровая и политически надежная, загремела во фронттовую разведку, что несказанно ее порадовало, так как сулило жизнь сколь героическую, столь же и короткую. С таким настроем Татьяна имела все шансы заслужить звание героя Советского Союза посмертно и впоследствии получить личную улочку им. Татьяны Завалишиной в деревеньке или городке, близ которого ее смерть имела бы место. Но, как всегда, все пошло наперекосяк: война, украсив ее грудь блеском отнюдь не бижутерийным, «Героя» ей все же не подарила, как и ни одного ранения! Порой единственная, без единой царапины она выбиралась с секретными сведениями из такой безнадежной мясорубки, что товарищи посматривали на нее с подозрением: не отсиделась ли? Не прикрылась ли чьим-то живым телом? Но в Особом Отделе она не виляла, резала правду-матку, точно так же не боясь ареста, как и немецкой пули, – и тем очаровала полкового особиста, трогательно в нее, в конце концов, влюбившегося. Оттаявшее было бабушкино сердце успело ответить ему взаимностью – да только зря: как раз наутро после их решительного объяснения особиста разметало на клочки вместе со всем Особым Отделом в результате прямого попадания снаряда в их сверхукрепленный блиндаж... Но Таня и после этого осталась «заговоренной», возможно, потому что –

- С крестиком я тогда уже не расставалась, – рассказывала она с твердой убежденностью. – Священник из одной оккупированной деревни к тому времени уже объяснил мне и ребятам из нашей разведгруппы, что без креста никак нельзя. Ну, на шее, сама понимаешь, в те времена носить неудобно было – так я в левый нагрудный карман положила и никогда оттуда не вынимала. Носила вместе с самым святым, что только может быть у человека: вместе с партбилетом.

Кого-то, возможно, и рассмешит такая несокрушимая вера, но мне волей-неволей пришлось общаться с данной особенной популяцией праведников, когда они приходили поболтать с бабой Таней, и я быстро разучилась удивляться их сокрушенным исповедям, приводившим, верно, и ангелов в священный трепет.

После похорон бабы Тани ко мне пристроилась сбоку почти бесплотная бабуля, состоявшая, казалось, из одних распахнутых глаз карапуза-трехлетки и бледного плаща, трепетавшего, подобно ангельскому оперению, вокруг тела, при жизни превратившегося в святые мощи, – во всяком случае, благоухавшего ароматом июльской копны свежего сена, а не старческой дряхлостью:

- Вот праведница-то преставилась, вот праведница! – прошелестел этот полуангел-полудитя. – И ведь умру – не увижусь с ней, подружкой любимой...

- Почему вы так считаете? – опешила я.

- Да потому, что она в раю! – сокрушенно взмахнуло и упало крыло. – Если и были у нее какие грехи, то она их все своими мучениями искупила... А я все прошу, прошу у Бога: пошли Ты мне страдания, чтоб хоть часть грехов моих омыть, – нет, не посылает. Наверное, такой, как я, и прощенья нет...

- Да бросьте, какие там у вас грехи! – убежденно утешила я. – Простил вас Бог давно – вот и не посылает наказания.

- Какие грехи? Какие грехи?! – возмущенно захлопали крылья. – А вот вы послушайте, послушайте, что я на войне наделала! Послушайте – и сами поймете!

«Ну, понятно, война... – подумалось мне. – Многие решили, что война, мол, все спишет, и сами себе все свои военные похождения списали. А эту – совесть мучает. Ну, что там такого особенного она могла сотворить? Ну, залетела и криминальный аборт сделала, как большинство женщин на фронте... А может, оговорила кого у особистов – а кто бы не оговорил, в их-то лапах... Не военную же тайну немцам продала!».

- А вот что... Даже говорить стыдно... Пятьдесят лет всем священникам каюсь, а стыд все не отпускает.... В общем, там, на фронте, понятное дело, паек выдавали. В пайке курящим полагался табак, а некурящим – печенье. А я всегда некурящая была. Но говорила, что курящая, и брала табак. Тем, кто курил, его все равно не хватало, вот я им его и давала в обмен на продукты из пайка. Это было выгодно, потому что так продуктов гораздо больше выходило, гораздо – чем если б печенье брала...

Она замолчала, покраснев и тяжело задышав. Я терпеливо ждала продолжения, но оно все не наступало. Наконец я решила поторопить ее:

- Ну, а согрешили-то как?

- Так я же вам все рассказала, как на исповеди! – изумленно глянули на меня дымчатые глаза; и с расстановкой, как несмышленишу: – Я – табак – на продукты – меняла!

- Э-э... Несправедливо, что ли, меняли? Мало давали, нечестно как-нибудь? – пробормотала я, полностью озадаченная.

- Избави Боже! – отшатнулась великая грешница. – Да как же вы не понимаете никто?! – чуть не со слезами: – Даже батюшки переспрашивают... Я людям – яд давала! Вот этими руками! И греху их способствовала, потому что курение – ужасный грех. Они, может быть, через меня для жизни вечной погибли – страх-то какой! И вообще, я вследствие этого обмана имела больше продуктов, чем было мне положено, – за счет других! Это на фронте-то! Да где ж я окажусь за это после смерти?!

Я едва оправилась от изумления:

- А больших грехов что, не было? Этот – самый страшный?

- Да куда уж страшней?! – ахнула она.

«Не видит, наверное, своих грехов человек, – догадалась я. – Наверняка же после войны с мужем ругалась, и детей шпыняла, и аборт делала... Да на работе кого-нибудь подсидела – и не замечает. А пустяк из тьмы веков раскормила до смертного греха...».

- А с мужем, детками – хорошо жили? – наведальась я.

- Да с каким мужем, Господь с вами! С мужем честной быть положено – а про такой ужас как хорошему человеку расскажешь? Кто такую замуж возьмет? Так и осталась в девицах, в доме престарелых няней всю жизнь проработала. Думала несчастным послужить, хоть тем немножко Бога умилостивить...

Передо мной, тогда тридцатитрехлетней, стоял живой праведник, имеющий в будущем быть прославленным в лике святых. Правда, я тогда в наличии этого лика несколько сомневалась: воспитывая меня, баба Таня не захотела воспитать заодно и тяжелый внутренний конфликт, превратив восторженную пионерку в несчастную девочку, и ограничилась лишь моим надомным крещением, о чем велела помалкивать. В церковь с собой меня никогда не гнала, но если я из любопытства просилась сама, – никогда не отговаривала и терпеливо объясняла:

- Вот это – Бог, про Которого тебе в школе врут, что Его нет. А это – Его Мать, про Которую научно доказали, что без мужчины забеременеть невозможно, – и опять соврали.

Мне это очень нравилось: в меня не вбивали догмат о непогрешимости школьной училки, а, наоборот, словно приобщали к какой-то тайной касте взрослых, смеющихся произносить вслух при ребенке то, за что, как мне казалось, можно сесть в тюрьму.

При этом на стенке, прямо рядом с иконами, отодвинутый от них лишь на условное расстояние, всегда присутствовал и портрет молодого Сталина – вовсе не рябого сухорукого карлика, как в документальной хронике, а красавца-мужчины с благородным зачесом волос и пронзительными глазами... Роль Сталина в истории России моя большевичка-бабушка видела весьма парадоксально. Когда я уже достаточно, по мнению

бабушки, подросла для того, чтобы расстаться с последними иллюзиями, она, бестрепетно лишившая меня матери осенью, теперь, весной, отняла и деда (всеобщего дедушку)... Правда, взамен она попыталась подсушить мне Отца – с несколько подмоченной двадцатым съездом КПСС репутацией...

От дедушки она избавила меня просто: раскрыла передо мной вполне официальное издание его полного собрания сочинений и дала прочитать: «...Весьма удивлен теми мягкими мерами, которые Вы до сих пор применяете к местному населению. Считаю необходимым заметить Вам, что обычные расстрелы не могут дать в нашем случае желаемого результата. Для полной деморализации этого аполитичного стада следует расстреливать родителей на глазах у детей и детей на глазах у родителей, не считаясь ни с возрастом, ни с полом, причем, не проявлять мягкотелости...».

Поначалу ни название книги, ни заголовок данного текста мне не были показаны, а после того, как я с ужасом прочитала отрывок, баба Таня спросила, едва обуздывая рвущееся наружу торжество:

- Ну, и кто же, по-твоему, это написал?

- Н-не знаю... Гитлер? – брякнула я наугад фамилию, казавшуюся тогда воплощением злодейства.

- Как бы не так! – узда лопнула, и торжество поперло из бабки, как тесто из миски.

Она медленно закрыла книгу – и я обмерла. Кинулась проверять. Убедилась. Не только в этом, но еще и в других прискорбных подробностях. Это потом мне еще предстояло прочесть Солоухина, Мельгунова, кн. Жевахова... Но в ту минуту, мучительно переживая очередное прозрение, я почему-то очень ярко, с болезненным стыдом вспомнила сценку из раннего детства – по-моему, еще из той эпохи, когда жива была бедовая Валентина... Мы с бабой Таней идем по улице за ручку, и она рассуждает на тему о том, что идеальных людей нет, никогда не было, и быть не может: то ли на мой вопрос отвечает, то ли умудрившись учит... Я слушаю с полным доверием, но вдруг останавливаюсь, вырываю свою ладошку из бабушкиной руки и начинаю подпрыгивать на месте – чем долго, почти до самой юности сопровождалась у меня внезапные озарения:

- А вот и нет, а вот и нет, а вот и нет!

- Как? Ты считаешь, что есть такой идеальный человек? Или был? – внимательно смотрит на меня баба Таня.

- Это же Ленин! – победоносно выкрикиваю я.

- Вовсе нет. Он был лысым, рыжим и картавым, – сухо произносит вдруг она с таким выражением, что я спешу переменить разговор...

Спустя пять лет после своеобразных «похорон» «дедушки» началось то, что до сих пор почему-то стыдливо называют перестройкой, – на самом же деле грянула настоящая революция.

«Переворот наоборот», – грустно шутила баба Таня, восьмидесятилетняя, но выглядевшая молодящейся дамой, не разменявшей и седьмого десятка. Ленина поначалу не трогали, но Сталина немедленно смешали с грязью по второму разу.

Я тихонько наблюдала и ждала, когда в свете открывшихся новых чудовищных обстоятельств баба Таня, очень неглупая женщина, уберет портрет кумира молодости от икон. Но Сталин по-прежнему с кавказской хитрецей поглядывал со стенки, и однажды я не выдержала, бросив как бы между прочим:

- Сколько всего мы теперь узнали про те времена... И не страшно было жить, баба Таня? Ведь в любую минуту могли прийти...

- Узнали? – пожала плечами она, приподняв в ниточку выщипанную бровь. – Что именно? Лично я ничего нового не узнала. Все так и было, как теперь пишут.

- Но... – опешила тогда уже, можно сказать, совсем взрослая я. – Как же ты тогда его портрет на стене держишь? Пусть не со святыми, но – рядом? Ведь он же... даже детей! – нашла я последний аргумент.

Она спокойно кивнула, словно разговор шел о чем-то повседневном:

- Разумеется. Как же можно уничтожить родителей и оставить детей? Ведь это означает вырастить молодое и сильное поколение врагов-мстителей. Заложить мину с часовым механизмом...

- Но они же не были виноваты! – возмутилась я.

- Государственная необходимость вполне позволяет об этом не думать. Там, где речь идет о безопасности целого государства, приходится жертвовать детьми врагов, – отчеканила она.

- Врагов?! – захлебнулась я, вспомнив лишь на прошлой неделе дочитанные воспоминания такой вот «врагини», разлученной с двумя детьми, а потом не сумевшей найти их после смерча, пронесшегося над страной. – Да все это были ни в чем не повинные люди! Арестованные по приказу Сталина просто так, потому что ему везде мерещились шпионы! Из людей выбивали показания на себя и других – и расстреливали тысячами!

Баба Таня заговорила даже несколько раздраженно, будто я была маленькой девочкой, упрямо задающей нудные вопросы, на которые усталому взрослому уже надоело отвечать общеизвестными истинами:

- Ну, естественно, нельзя же было их просто выгнать из домов на улицу и поставить под пулеметы, как это делалось во времена Ленина. Приходилось, все же организовывать какое-то подобие правосудия: считаться нужно было и с зарубежными странами... Занавес – занавесом, но ведь была же международная политика. Вот и лепили им – кому шпиона, кому диверсанта...

«Господи, да ведь у нее же старческое слабоумие начинается! – догадалась я. – Просто по тому, как она выглядит, незаметно, что она, в сущности, древняя старуха! А мозг ведь не обманешь – к определенному возрасту он просто отказывает, и все... Нужно быть снисходительней».

- Да понятно, понятно... – немедленно проявила я эту снисходительность.

- Да что тебе там может быть понятно в двадцать лет! – поморщилась баба Таня. – Для этого в глобальном масштабе нужно мыслить, а что у тебя в голове, кроме тряпок, да вшивой демократии! Сталин хотел уничтожить всех – абсолютно всех – кто был причастен к трескистско-ленинскому перевороту, и тех, кто воспринял их идеалы – идеалы русоненавистников и хриstopродавцев. Это семя можно было вырвать только с корнем – и он рвал, и почти вырвал – да только его убили. Жестоко, говоришь? Да. Жестоко. Был бы он русский – провалил бы все с самого начала. Именно из русской жалости к черненьким деткам с огромными печальными глазами. Потому Бог и попустил грузину возглавить Россию, что у них нет в крови жалости, а все споры решаются с помощью кинжала. Никаких сантиментов – режут, и все. После такой страшной войны Россия за пять лет отстроилась и уверенно шла к полному процветанию – и с естественным для русского менталитета единоличным правителем во главе. Да нам вообще чужда демократия, и ты еще, даст Бог, увидишь, как на русской почве она не приживется. Ты спросила меня – не страшно ли было жить. Нет, не было. Мне смешно видеть, как теперь они в телевизоре делают большие глаза и рассказывают, что по ночам боялись перед сном раздеваться, чтоб, если что, их в тюрьму поволокли не голыми! Как до утра слушали – не проедет ли машина? Где остановится? Разве не понятно, что, кто так слушал, – тот точно знал, что его есть, за что брать! Ждали и боялись только те, у кого было рыльце в пушку. И дождались, иначе теперь по телевизору о своих муках не рассказывали бы. А я, и муж мой, и дети – все всегда спали спокойно и ни на какие машины внимания не обращали: надобности не было. Нам и в голову не приходило прислушиваться, и никто за нами не приходил, потому что мы действительно не были врагами...

- А брали только врагов? Преступников? – сделав намеренно «внимательные» глаза, спросила я.

- Юридически – нет, фактически – да, – ответила она. – Большинство из них действительно не были виноваты в том, что им инкриминировали. Но они были виноваты в настрое, в духе, если хочешь, а ведь именно это самое важное, а не пустяковые проступки. Ведь даже в религии так: грех – это не действие, вернее, греховное действие вторично. А первично состояние духа, в котором грех совершается и без которого он невозможен. И если такое состояние есть, то даже пока нет поступка – человек все равно опасен. И, по-хорошему, он должен уже сидеть в тюрьме, чтоб не причинил зла. Вот и Сталин, будучи, конечно, гениальным человеком, имеющим провидческий дар, умел различать, кто потенциально опасен, а кто – нет... И он создал теорию, успешно применявшуюся в Органах – теорию того, как распознавать таких носителей бацилл государственного зла... Ну, а уж как с этими бациллами боролись, – то уж не его было дело...

Она вдруг оживилась, отложила очки и безотчетно заходила из угла в угол, по-сталински заложив руки за спину.

- Вот послушай, что я тебе расскажу, послушай... Муж мой был беспартийный инженер на военном заводе, проектировал сложные детали к каким-то новым орудиям. И вот представь себе, он допустил в расчетах ошибку, очень серьезную, – и эту ошибку проверяющие прохлопали! По неверным чертежам был налажен выпуск деталей – и они не подошли, куда следовало. А дело было в тридцать девятом году – представляешь, что это такое? Тут и фабриковать ничего не требовалось – факт налицо. Хоть расстреливай без суда и следствия: доказанное вредительство. Естественно, отчет пошел в Органы, и муж действительно ждал ареста – справедливого, потому что был серьезно виноват. Его вызывали, он все честно рассказал – и отпустили. Отпустили, Марина! На завод пришла бумага о том, что состава преступления не обнаружено, имела место обычная производственная ошибка. Наказанием стало лишение путевки на море – и только. Милая моя, да если б Сталин, как параноик, дал установку на уничтожение всех без разбора, – разве возможно было б такое?! И тебе, кстати, как будущему милиционеру, советую: меньше ты смотри на поступки. Больше смотри вглубь, в самую суть человека... Поступки могут быть чем угодно, как и слова. А вот улови настрой его личности, уклад его души – и вычислишь преступника без всяких улик и мотивов...

*

Хорошенький совет, нечего сказать! Теперь, когда, в качестве детектива, мне необходимо поймать для Олега поджигателя, похоже, предстоит впервые воспользоваться! Легко сказать – загляни в суть (считай – в душу) – а как это делается? Похоже, не избежать мне повторного, беспроточного общения с Агатой Нащокиной, потому что из всего бестиария, подвизавшегося в покойном еженедельнике, только она производит впечатление человека, разбирающегося в тонкостях душевных состояний. Я пришла к этому выводу в результате простого наблюдения: Агата пишет в газету письма за читателей – разного пола, возраста и социального положения – и сама на них отвечает в качестве «психолога»! Да какой же это собственный душевный и жизненный опыт нужно иметь, чтобы тебе поверили! Только как к этой Агате ключик подобрать – баба Таня мне не подсказала...

Умерла баба Таня в возрасте девяноста четырех лет – и как раз той ужасной смертью, которая, по мнению нашего дымчатого ангела, искупила все ее земные прегрешения.

Четыре дня она промолчала. Но именно в те дни мне было недосуг обращать внимание на ее внезапную немоту: пришлось разгрести на работе гору отчетов, что я всегда любила оттягивать до того момента, когда начинало явственно припахивать катастрофой, то есть, лишением премии или, хуже, притормаживанием очередного звания. Стиснув зубы и водрузив на стол банку кофе, две пачки сигарет и электрический чайник, я являла собой замечательный образец прилежной канцелярской крысы, стараясь пореже поднимать голову, чтоб не отвлекаться на житейские соблазны: в отделе вовсе шла предновогодняя

свистопляска. «После принятия оперативных мер установлено, что, находясь в нетрезвом состоянии, гражданин...» – писала я в сотый раз, когда на столе у меня зазвонил телефон. Звонила соседка по лестничной клетке. Из нашей квартиры пахло газом, в нее добросовестно стучались (звонок мог вызвать электрическую искру), но ответа не получили... Было около девяти вечера, и предположить, что девяносточетырехлетняя женщина пошла гулять, было едва ли возможно...

Помню, как почти бегом неслась через темные дворы – с тем особым ощущением под сердцем, когда оно точно знает, что его ждет беда, но до поры до времени не срывается на отчаянье, а как бы тупеет, подготавливая своего хозяина к тому, что скоро ему станет очень больно, и никуда не денешься – придется это пережить...

Во всей квартире горел свет – везде, где можно его включить. Четыре газовые конфорки с равномерным шипением выпускали газ, а баба Таня лежала на полу в ночной рубашке – и моих туфлях, ярко красных, на шпильке высотой тринадцать сантиметров. Как ни удивительно, но она дышала, – и я, пооткрывав окна и двери, вызвала «скорую». Вопрос, заданный врачом, заставил меня оторопеть:

- Ну, чего, откачивать будем? – и, очевидно, заметив в моих глазах отблески кошмара, он счел нужным объяснить: – Если сейчас не тронуть, то тихо умрет через полчаса, и дело в шляпе. А откачаем – можете еще пару лет с ней промучиться. Потому что это – сенильный психоз, то есть, старческое слабоумие. Вы посмотрите, что у нее на ногах!

Я замотала головой, хотела крикнуть – да как вы смеете, она мне мать заменила, а вы клятву Гиппократа давали! – но только тряслась, как припадочная, и, тяжело вздохнув, доктор приступил к процессу «откачки».

В больнице баба Таня очнулась, но, как и обещал врач, никого не узнала. Меня она упорно величала Катенькой (поднапрягшись, я вспомнила, что так звали ее лучшую подругу молодости) и, по всей видимости, пребывала сознанием в конце тридцатых, потому что пыталась непринужденно болтать с подружкой о превратностях ее влюбленности в некоего Петра Ивановича: «Ты, Катя, из мухи слона делаешь: раз обещал, значит придет, он мужчина положительный... А ты бы лучше сама тогда перед ним не ломалась, а соглашалась сразу. Только расстроила человека зря!».

Меня для нее не существовало. «Баба Таня! – тормошила ее я, исходя слезами. – Ну, вспомни меня, узнай! Это же я, твоя Мариночка!». «Мариночка? – изумлялась она. – Зои Владимировны племянница?».

Доктор оказался бы прав, не будь я милиционером. Простой русской женщине действительно пришлось бы увольняться с работы и быть привязанной к незнакомому существу в памперсах с утра до ночи, потому что оставить и на секунду было бы опасно. С того момента, как она очнулась в больнице, я ее уж больше не любила – пожалуйста, можно считать меня чудовищем. Но ведь любят личность, а личность исчезла. Перед той оболочкой, что раньше ее содержала, испытываешь лишь чувство долга – и не более. «Вашей бабушки больше нет, – спокойно объяснил ее лечащий доктор, – она никогда не вернется. А это только тело, и оно скоро умрет. Оно не понимает, где, с кем и в каком положении находится, не оценивает никаких ваших забот и подвигов. Поэтому, если у вас есть возможность поместить ее в психиатрическую клинику, сделайте это и не казнитесь». От врача я вернулась в палату: «Баба Таня, хочешь переехать в другую больницу?». «Что вы себе позволяете, милейшая? Какая я вам, с позволения сказать, «баба»? И почему в этой клинике персонал «тыкает» пациентам? Я буду говорить о вас с завотделением, имейте это в виду!» – холодно отчеканила не баба Таня, а партийная дама, проходящая обследование в специализированном отделении.

«Ты хорошо подумала-то? – спросит меня позже в приемном отделении «той самой» больницы много чего повидавшая санитарка. – Ведь бабку родную в дурку сдаешь, чай, не постороннюю... А из этого отделения, где старухи, путь только в морг, что бы тебе ни говорили! И ты не думай, что здесь лечат: нет таких лекарств, чтоб это вылечить. Уморят по-тихому – и всего делов...».

Но я хорошо подумала, верней, не думала вообще, потому что думать было не о чем. Во-первых, не бросать же, в самом деле, работу, а во-вторых, как раз тогда в полную мощь расцвел яркий роман – тот самый, пятимесячный, на который я возлагала самые трогательные надежды – напрасные, конечно, но кто же в самом начале о таком думает. С отбытием бабы Тани для этого романа освобождалось необходимое жизненное пространство – собственно, и обеспечившее ему такую продолжительность: по чужим квартирам долго не проскитаешься.

Чтобы свернуть шею неизбежным хилым росткам чувства вины, я с завидной регулярностью ездила за город, «туда», всякий раз таща с собой полную сумку вкусной еды и памперсов, – и в ожидании привода (или привоза) заказанных старушек, там всегда переминалось еще несколько таких без вины виноватых родственников. Мы говорили только о том, почему совершенно невозможно было оставить болящую дома, и пришлось, скрепя сердце, привезти ее сюда, где за ней какой-никакой уход, и вообще «лучше». Насколько лучше – это сразу бросалось в глаза при появлении страждущих. Собственно, в тряпичной кукле с остановившимся взглядом уже никогда нельзя было узнать того человека, что когда-то жил рядом с нами, давал советы (чаще всего, непрошенные), как нам жить, чтоб не стыдно было умирать. И тем более, того, которого мы не застали, а знали только по фотографиям, сделанным за долгие годы до нашего рождения, когда человек тот любил, работал, дружил, воевал, рожал, ссорился... Как правило, эти люди относились к поколению наших бабушек и прабабушек, так что, придя в этот мир и повзрослев настолько, чтобы узнавать кого-то, мы застали их уже в пожилом возрасте и стали свидетелями лишь их стремительного старения. Молодость, зрелость, созидательные годы наших старушек остались для нас за рамками невразумительных фотографий, где они непременно позировали в лучшем платье или торжественно присутствовали, почти неузнаваемые, на бледных коллективных снимках... Отдыхающие в Кисловодске у «Стеклянной Струи», мужчины и женщины – в одинаковом нищенски-мятом белом – и только потому, что в детстве тебе точно показали, ты знаешь, где искать родную бабушку – шестую справа в третьем ряду. А ведь только на несколько тоскливых минут – пока фотограф расставлял, усаживал, укладывал (в основном, двоих обнаженных до пояса мужчин с одинаковыми бритыми черепами – голова к голове, подпершись локтем, – у ног первого сидячего ряда трудящихся) – та молодая женщина поддавалась скучной суете для того, чтобы запечатлеть для тебя неповторимый, но не слишком удачный миг. А после вспышки магния, когда фотограф вылезал из под черной ткани своей треноги, ее ждала настоящая и единственная, исключительная жизнь – с курортным, быть может, романом или, наоборот, письмом из Ленинграда, которое все не приходит и не приходит, и оттого отдых – не отдых. Это если в ее семье или среди друзей не было фотолюбителя – большой редкости по тем временам. А если был, то ты можешь увидеть черно-белую семью за дачным столом, или двух сестер в неизменно светлом, у озера, или карапуза в перевязочках, обнимающего счастливую мать, или молодую пару на прогулке: у нее губки, подкрашенные «бантиком», а он в «клешах», чуть ли не уголовно наказуемых в конце тридцатых...

И, вроде бы, ты знаешь, что главу той семьи через год возьмут таким же летним утром из-за такого же нарядного стола, и больше никто никогда его не увидит, а жена его через полгода выйдет за другого и проживет долгую и счастливую жизнь; что из тех сестер одна (та, что повыше) станет на войне медсестрой и умрет не от ранений, а от последствий нелеченого сифилиса, а вторая погибнет в блокаду в бомбоубежище, куда будет надолго завален вход; что карапуз, приходившийся тебе, вообще-то, двоюродным дядей, так никогда и не пойдет в школу, потому что антибиотиков тогда еще не изобрели, а без них от скарлатины часто умирали; что трогательно стоящие под ручку молодожены так и не изменят своему чувству и шестьдесят лет спустя украсят собой блеклый цветник умильных пожилых пар, гуляющих перед ужином и после завтрака в облетающем парке с белками и голубями...

Это все было давно-предавно и как будто не по-настоящему – да и вообще, как можно было чувствовать себя счастливой в эпоху, когда даже не было цветного кино, а имевшееся черно-белое кажется сейчас убогим и диким. Чего стоят, например, пенопластовые льдины и настоящие жестяные ведра без ручек на головах у псов-рыцарей в исторической фильме про действительно великие дела! Счастливой – в годы, когда порядочной девушке полагалось два платья и две пары туфель – на каждый день и на выход – а все, что сверх того, считалось баловством и расточительством! Когда единственные, драгоценные фильдеперсовые (фильдекосовые?) чулки приходилось носить или на тугих подвязках или на ужасающей конструкции под названием «пояс с резинками» – и ни одна идиотка не догадалась пришить их к тогдашним длинным трусам и так изобрести удобные колготки! Когда невозможно было безоглядно наслаждаться любовью не то что с любовником, а и просто с законным мужем, потому что над каждым ложем страсти стоял призрак нежелательной беременности по причине полного отсутствия сколько-нибудь эффективной контрацепции! Когда еду приходилось готовить на пожароопасных примусах, на глазах у далеко не всегда доброжелательных соседок, а утром умываться холодной водой, отстояв очередь к крану, на глазах у них же – и их мужей! Когда просто собственная комната – пусть даже пополам с мужем – виделась недостижимым счастьем, и в порядке вещей казалось, что в одной живут от четырех до восьми человек! И так далее, и так далее...

Невообразимый, неудобный, смешной, пошлый, трагичный мир рисовался в воображении за пределами того его кусочка, что предстал перед нами на фотографиях, – и, в любом случае, он видится нам теперь черно-белым. А те полуживые существа – слюнявые, с дрожащей нижней челюстью (отчего выпрыгивают вставные зубы), с синими губами и свалывшимися клоچьями серых или белых волос, те бывшие люди, которых доставляют нам теперь в комнату для свиданий в сумасшедшем доме, – они считали этот мир своим и вольно ориентировались в нем. Они вовсе не возмущались, например, отсутствием Интернета и мобильных для немедленной связи с близкими, а послушно бегали на «междугородний телефон», где покорно часами ждали, пока их соединят с родными, чтоб успеть бестолково прокричать им что-то в трубку в течение заказанных трех минут... Они смиренно стояли шестыми в третьем ряду справа среди других себе подобных, которые все, все уже умерли, умерли, умерли! Или умирают... Стояло человек пятьдесят на фотографии начала тридцатых, и каждый из них уже встретил смерть в одиночку – свою, единственную, как невесту... Кто-то вскоре был отправлен в лагерь и сгинул там, иной счастливчик покрыл себя неуязвимой славой на войне, а последние из могики, как моя баба Таня, – мучительно угасли вот в таких «богоугодных заведениях», уже при жизни начиная принимать адские муки... Это последнее, впрочем, дает неплохую надежду на то, что адские муки ограничатся для них земными и доказывает, что личный, миниатюрный адик каждый из нас всегда непринужденно носит с собой.

- Не думала я, не гадала, Катенька, – бредила баба Таня, в очередной раз принимая меня за персонаж со своих фотографий, меж тем как я, избывая острое чувство вины, деловито толкала ей ложкой в рот самый дорогой йогурт, какой только смогла найти. – Не снилось мне даже, что и меня посадят в лагерь, и будешь ты мне передачи носить... А я уж и руки поднять не могу, сил нет – так изработалась... А работа страшная тут, тяжелая, под землей... В темноте... Все долбим, долбим стены, а они черные... А мы долбим... А как надолбим побольше – на себе в другое место перетаскиваем... И опять долбим... И опять перетаскиваем... А грохот стоит, грохот какой! Потому что другие, которые не работают, они все в рельсы стучат железными палками... Мы все долбим, а нас бьют... Охранники бьют... Они такие черные, огромные... Глаза у них красные, а с зубов кровь капает... Вместо рук – лапы, с когтями... В лапах – плетки... Они мимо ходят, рычат и бьют нас... А мы долбим и таскаем, долбим и таскаем... А те – в рельсы стучат... Громко... И темно... И больно...

Вот тебе, Катя, десять лет дали... Одиночки... А выпустили уже... Значит, десять лет прошло, а я больше сижу... Все жду, может, и меня выпустят... Тебя же вот выпустили... А я уж и не помню, какой у меня срок... Ничего не помню... Хорошо, хоть ты зла не держишь, передачи носишь... Все правильно поняла, не осудила... Поняла, что лично к тебе я ничего плохого не испытывала... И не из-за Владимира вовсе, как ты, может, думала... Поняла, что говорить нельзя много – а ты говорила... А от слов до дела, сама понимаешь... Один шаг... Вот я и не хотела, чтоб ты сделала этот шаг... Спасла тебя, а то тебе же хуже было бы... Ты это поняла, и тебя выпустили... А меня посадили... Без права переписки... А за что – не помню... Ни суда не помню, ни сколько дали... А только долблю целый день... Правда, знакомых иногда вижу... Зойку вот недавно видела... Помнишь Зойку? Она здесь по рельсам стучала, но теперь ее от нас взяли... С общих... Ей сначала передачи приносить стали – такие белые круглые булки... Прямо в шахту бросали – и она их одна ела... Никто отобрать не мог... Как кто руку к ее булке протянет – так рука и отвалится... Правда, потом снова прирастает, чтоб работать... Ела, ела Зойка белые булки и понемногу сама стала такая же белая... И однажды ее забрали из шахты, наверно... А мне зато глаза выкололи... Теперь уж не вижу, а только слышу – а что слышать? Один гром да рев... Да еще плеткой как стегнут, как стегнут... Вот смотри, сколько рубцов на теле, смотри... – и синеватые в коричневых пятнах руки, уж и на руки не похожие, начали перебирать на груди халат.

- Няня! – не выдержала я и забилась в железную дверь, что вела в отделение. – Няня, сестра!

Она появилась на удивление быстро и, окинув опытным взглядом закуток для «свиданок», оперативно взялась за бабушкино кресло на колесиках и стала его разворачивать.

- Она что-то разволновалась, бредит... – трясась, объясняла я и пихала в руки толстой бабе пакет с деликатесами – считалось, что для больной, но няня восприняла это иначе и снизила до беседы с посетителем:

- Что, про черные шахты, небось, рассказывает? Так это дело обычное. У нас тут каждая то шахтерка, то метростроевка, мы уж привыкли... У всех у них бред одинаковый – не то строят что-то под землей, не то добывают. А потом рушат или обратно таскают – и по новой... Кругом чудовища одно другого страшней. Врачи говорят – типичная картина бреда при сенильном психозе... Вы не обращайтесь внимания – это ж все у нее в мозгах только, а так ей хорошо: спит себе да спит целыми днями. Некоторые, кто покрепче – те гуляют поначалу в коридорчике, а потом все равно «в шахту»: сами понимаете, возраст...

Нет, я так умирать не буду... Я умру... как-нибудь по-другому, но не так... Я... я засну и не проснусь, вот... Или инфаркт – упаду и все... Хотя я и милиционер, но бандитская пуля меня вряд ли настигнет, поэтому я проживу еще много-много лет... Сорок... Нет, пятьдесят... И все это время я буду здорова и в своем уме. У меня будет много-много внуков и правнуков, и все они будут меня обожать, потому что я невредная... Ну, в крайнем случае, когда мне будет лет девяносто пять, я погибну в авиакатастрофе. Сразу. Даже испугаться не успею. И вообще, все это будет так нескоро, что мне и самой жизнь уже надоест. А может быть, к тому времени изобретут такое лекарство, что люди будут жить полнокровной жизнью двести лет. Или триста. И абсолютно здоровыми. А за триста лет все уж точно надоест, и можно будет лечь в теплую, уютную постель и блаженно уплыть куда-то. В любом случае, до этого еще далеко, и меня ждет большое-большое счастье, потому что пора бы ему уже и начаться... А с ума я никогда не сойду, потому что много читаю и думаю. Я умру – не так. Только не так.

Психбольница располагалась в чьем-то девяносто лет назад конфискованном имении, и от господского дома, где и располагалось отделение для стариков, к выходу следовало идти по аллеям через огромный заснеженный парк, где периодически попадались одинокие гуляющие фигуры в телогрейках. Хорошо, если персонал, а вдруг – больные? Понятно, тех, кого считают опасными, врачи на прогулку не выпустят – а если они

ошибаются? И вон тот, что как-то подозрительно топчется в валенках вокруг березы, – не тихий сумасшедший, а маньяк-убийца, уже укравший на кухне нож? Я-то, если что, вспомню, чему учили в Академии, и отобьюсь, в крайнем случае, отстреляюсь – а вон та девушка в очках? Господи, что за мысли в голову лезут?

И не только мысли. Ощущения тоже отличались от тех, что появляются в обычных больницах – тоже вместилищах боли и беспомощности. Но здесь было другое. Словно невидимое, но тяжелое и плотное облако неподвижно зависло над старой усадьбой – зависло и испускало ядовитые, тлетворные лучи, пронзавшие каждого, кто попадал в зону их действия. И чем дольше человек оставался под убийственным облаком, тем труднее ему было двигаться, думать и сострадать. Все бежали с автобуса, ходившего раз в три часа, как чумные, с сумками, втянув голову в плечи. Быстро-быстро выполняли самое необходимое – ровно столько, чтоб самого себя не презирать – и, словно прибитые, воровато трусили по дорожкам обратно к автобусу... По мере того, как он увозил посетителей прочь, с каждым метром почти физически ощущалось, будто тебя нехотя отпускает плотная смрадная паутина, – и вот ты уже распрямляешься, вздыхаешь, стряхиваешь что-то с плеч, к тебе прорывается дневной свет, чей-то беззаботный голос... Будто ты долго блуждал в чаще и – вырвался, слишком глубоко нырнул – и последним усилием всплыл...

В тот день в автобусе я в очередной раз призадумалась. С тем, что баба Таня умирает, я смирилась и даже, уже не таясь от себя самой, желала ей скорой смерти как избавления, – но тут мысли мои приняли другой, очень неприятный оборот:

«Она бредила, конечно: шахты эти всякие, подземелья и чудовища – оттуда, какой уж тут спрос. Меня она не узнавала, принимая за «Катеньку» – и это, вероятно, типично: в старости, как известно, лучше помнят молодость. Но вот что это она мне, то есть, Катеньке, говорила? Вроде, хвалила за то, что она что-то правильно поняла и не держит зла. Притом упоминала, что Катеньке дали десять лет. Ничего, дескать, личного, и Владимир здесь ни при чем. Просто Катерина «много говорила», и баба Таня ее от чего-то спасла, не то было бы хуже... Все это уже совсем не похоже на бред, а напоминает обрывки воспоминаний и размышлений...

И в какой-то момент прямо через все мое тело, сверху вниз, от макушки до пяток вдруг прошла замедленная раскаленная молния.

Жили-были две подружки, Таня и Катя. Таня была замужем за Володей и уже родила от него детей. Только Володя гуллив был не в меру, что со временем и привело к разводу, но в те годы вопрос еще так не стоял. И увлекся Володя Таниной подружкой, незамужней Катей, а Таня стала страдать и ревновать. Но при этом Таня была большевичкой ленинского призыва, и, конечно, для нее общественное стояло выше личного. И, как большевику, ей очень и очень не нравились слишком вольные Катины разговоры: то насчет кого из руководства проедется, то про партию что брякнет по незнанию... Все, конечно, в своем кругу, исключительно при близких, – но получалась вроде как и агитация. А вот скажи такой легкомысленный человек нечто подобное в присутствии настоящего врага – и в два счета попадет в террористическую организацию... Нелегко пришлось Тане: она много думала и плакала, целый месяц мучительно колебалась... Речь ведь шла о подруге! Но государственные интересы важнее. И особенно ясно это стало Тане, когда однажды она увидела Катю и Володю, своего мужа, на лавочке в парке – хохочущими и лижущими мороженое... Семимильными шагами направлялась лучшая ее подруга в стан врагов – вот уж и моральное разложение началось. Никакие личные побуждения Тане и во сне не снились, только коммунистическая совесть руководила ее действиями и особенно ногами, когда они вели ее в партком, – и правой рукой, когда после откровенного разговора с руководством она уже выводила под диктовку на белом листе круглыми черными буквами: «Довожу до Вашего сведения...». И Катя получила десять лет одиночки, потому что на следствии выяснилось, что она давно уже состояла во

вражеской террористической организации и могла бы натворить много бед, если б она, Таня, их не предотвратила...

Потому именно Катю видела теперь вместо всех женщин на свете баба Таня: очень хотелось ей убедиться, что ее правильно поняли, не обвинили в том, что она посадила любовницу мужа для того, чтобы удержать его при себе еще на какое-то время, а проклятой разлучнице отомстить по-крупному.

И еще одно я вспомнила. Словно открылась передо мной неведомая книга с очень четким шрифтом – та, которую я читала однажды и отложила с презрительным хмыком.

Я оказался среди тысяч и тысяч почти совершенно одинаковых людей, и сам был такой же, как и они. Все мы находились в глухом подземелье и должны были строить длинный тоннель. Мы изо всех сил долбили железными палками грунт, клали его на носилки и оттаскивали в сторону. Когда дыра оказывалась уже достаточно глубокой, мы снова сваливали грунт на носилки и переносили его обратно. Мы заделывали им вырытую дыру и начинали долбить свод подземелья в другом месте. За работой мы не разговаривали, лишь огрызались друг на друга и толкались. Иногда начиналась драка, но сразу же подсакивали наши охранники – чудовища с черными лицами, зверскими горящими глазами и оскаленными зубами. Они свирепо избивали нас длинными плетками или крючковатыми палками, но раны быстро заживали. Кругом, почти в полной темноте, стоял страшный грохот, рычание и визг. Но иногда кому-то одному из нас сверху падал большой круглый белый хлеб. Тот, кому повезло, начинал тут же рвать его зубами и с рычанием пожирать. К нему всегда бросались другие, чтобы отнять еду, но, лишь только дотронувшись до хлеба, испускали крики боли, и их отбрасывало прочь. А тот, кто сожрал белый хлеб, в тот день уже больше не работал, и его не били и не кусали... Потом нас сгоняли в тесный темный барак и запирали, так что мы оказывались плотно прижатыми друг к другу. Мы ни о чем не разговаривали и не думали. Лишь иногда слышно было злобное, словно собачье, рычанье и рывканье. Через какое-то время (никто не задумывался о его продолжительности, да и о самом этом понятии) нас отпирали и гнали опять долбить стену.

Бывали среди нас и такие, кому белый хлеб бросали часто – и они постепенно становились как бы белее внешне, а потом исчезали – словно взлетали куда-то вверх из подземелья. Однажды ко мне тоже упал такой хлеб, и я торопливо проглотил его, разорвав на куски. Со мной сразу что-то произошло, я стал как-то не так видеть, и внутри головы появилось какое-то смутное представление о чем-то, чего не было вокруг, но как будто было где-то не здесь, но что это было именно, я не понимал...

Человек, написавший эти воспоминания, не мог страдать сенильным психозом, потому что ему не было еще и сорока лет. Он попал в авиакатастрофу, и его, бездыханного, вытащили из-под обломков сгоревшего лайнера. Полгода он пролежал в коме, но очнулся полностью в своем уме и зарыдал. Он зарыдал не оттого, что узнал о своей абсолютной инвалидности и непоправимом физическом уродстве: и то, и другое показалось ему не заслуживающими внимания пустяками. Он зарыдал оттого, что побывал в аду и ни за что не хотел попасть туда снова. «На том свете» он видел еще много интересного и поучительного, но про вышеописанное подземелье, куда его «там» определили, сказал, что это так еще, цветочки: именно туда отправляется подавляющая часть народонаселения Земли. Те самые «обычные люди», которые «жили, как все, и ничем особенно не грешили: не убивали, не грабили – а, вообще-то, жили даже лучше многих, потому что приносили пользу». Белый хлеб падал к их ногам тогда, когда на Земле кто-то додумывался написать их имя в поминальной записке. Он являлся прообразом той частички, которую вынимал православный священник из просфоры за упокой их души, омывая ее Кровью Христовой... В это местечко вообще попадали только крещенные, на Земле Бога не хулившие и не кощунствовавшие, причем «хлеб» падал исключительно к православным. Если за кого-то молились достаточно долго и «хлеб» падал часто, то человек понемножку просветлялся, обретал утраченную память о своей личности и мог уже подняться куда-то

в лучшее место, где мучения были не такими сильными, и где он знал, кто он и что. Настоящие же, нераскаянные грешники пребывали, по словам, вернувшегося, где-то «в Тартаре», откуда возврата нет... В книге своей тот человек ссылался на похожий опыт других возвратившихся из-за черты, с которыми пообщался по обе стороны бытия... Книгу давным-давно потихоньку подсунула мне баба Таня, исподволь пытавшаяся если не приобщить меня к вере полностью, то хоть поколебать земную мою природу, и я, с любопытством прочитав воспоминания эти как «фэнтази», вскоре про них позабыла – да и вообще тогда к экзаменам готовилась, не до того было... А сейчас вдруг все встало передо мной в подробностях, метнулось в мозгу туда-сюда... И я вскочила, бросилась по проходу автобуса к водителю: «Откройте, откройте, мне нужно выйти!» – и вылетела на склизкую загородную дорогу, в хмарь тяжелой гнилой зимы. Но впереди, на холме, за рощицей и кладбищем, виднелся одинокий тощенький купол церквушки...

Перед церковью стояла машина – мне с перепугу показалось, что «джип», но это была простая «Нива» нового образца – в нее как раз невозмутимо грузился крупный священник в рясе и дубленке – с матушкой в смиренном платке и без косметики, зато в голубой норке. Можно было вынуть из нагрудного кармана красное с золотом удостоверение и доставить попа, куда нужно, под конвоем – как миленький бы поскакал, да еще бесплатно. Но, даже не подумав об этом, я бросилась чуть ли не под колеса и выпалила на одном дыхании:

- Батюшка, помогите! У меня тут в дурдоме бабушка умирает и исповедоваться хочет перед смертью! Она вообще и раньше всегда в церковь ходила, но теперь ей один старый грех покоя не дает, нераскаянный. И оттого Бог ее душу никак в рай не берет, и она в аду при жизни мучается...

Дорогу в скорбный дом священник знал отлично – за десять минут домчались, еще и впускное время не закончилось. Пока он, облачаясь, кряхтел в предбаннике, я, сунув дежурной в кулак сторублевку, попросила привезти бабу Таню еще раз и, после нервного ожидания увидев в конце коридора кресло, помчалась ему наперерез. Передо мной сидел равнодушный труп со стеклянными глазами и струйкой слюны на подбородке – категорически неспособный не только исповедоваться, но и не реагирующий ни на свет, ни на прикосновения.

В припадке непонятного отчаянья я тряхнула бабу Таню за плечи: у нее только болтнулась голова, но в глазах что-то мелькнуло.

- Таня, это я, Катя, – ухватившись за эту соломинку, быстро и внятно заговорила я. – Ты меня узнала? Хорошо, вижу, вижу. Слушай, Таня, появилась возможность освободить тебя. Понимаешь? Освободить из лагеря навсегда, прямо сейчас!

И где-то в самой глубине потухших глаз обозначился немой вопрос.

- Только для этого, Таня, нужно сделать одну вещь. К тебе тут пришли. Это священник. И ты сейчас должна ему все рассказать. Про тебя, меня и Володю. Только рассказать правду. Настоящую правду. Ту, что тебя мучает. И тогда тебя отпустят на свободу. Сегодня же. Я тебе обещаю. Но рассказать надо все. *Все* – поняла?

- Поняла... – неожиданно прозвучало в ответ.

Мы уже тихонько подкатывали к предбаннику, где ждал недовольный священник, и я поторопилась оставить их наедине, пока в мозгу у бабы Тани не погасла так удачно зажженная мной звездочка далекого воспоминания.

Гонимая смутным томлением, я вышла на бетонное крыльцо, прислонилась к двери... И тут... До сих пор мне не верят, считают, что привиделось на нервной почве. Над парком и постройками, пронзив видимые тучи и невидимое, но сразу ослабевшее облако-паутину, стояла великолепная мощная радуга. Стояла среди зимы, после слякотного дождика, без намека на солнце. Жирная, словно нарисованная художником, решившим изобразить парадокс, но перестаравшимся. У меня захватило дух, и я, онемев, смотрела, как она медленно гаснет, играя красками, то притухая, то вспыхивая, как будто там, под ее

горбатым сводом, двигалось огромное и великое Царство... Но, когда священник вышел из здания, она уже почти исчезла, и он ничего не заметил.

- Ну, как, получилось? – опомнившись, бросилась я к нему. – Удалось ее исповедовать?

- Удалось, почему бы не утаться? – пожал плечами он. – Вы же все сюда здоровых старух спроваживаете, чтоб не мешались. И ваша вот в своем уме, слаба только. Может, не гневил бы Бога, да домой забрали? Она ведь меня спросила – правда ли, дескать, что ее выпустят... А исповедоваться – исповедовалась... Многие тут в одном и том же исповедуются, – со вздохом таинственно добавил он, но не выдал тайну исповеди, которую я и без него знала.

Проводив батюшку до машины, я в великом волнении рванулась назад – неужели баба Таня пришла в разум? Дверь в отделение оказалась распахнутой настежь, и в отдалении около кресла суетилось несколько белых халатов. Один из них устремился ко мне – я запомнила только голос:

- Давно пора запретить все эти хождения священников сюда! Только расстраивают зря людей своими обрядами! Не первая ведь уже смерть после такого прихода!

- Смерть?! – оторопела я. – Но он сказал...

- «Он сказал!» – передразнили меня. – Сказал и пошел себе, а бабушка ваша умерла от расстройства. Так в кресле и откинулась, глаза завела – и все. Нет, я буду с заведующим говорить...

Я бросилась к креслу, из которого набок свешивалась седая, стриженная «ежиком» голова. Челюсть больше не тряслась, слюна не капала, рот не выглядел синей страшной щелью. Передо мной было спокойное, последней бледностью осветленное лицо свободного человека, честно отмотавшего свой срок, и, наконец, освободившегося... из лагеря.

* * *

Дверь мне открыла не старая еще женщина, очень опрятно и с большим вкусом одетая. Сразу ясно было, что она никогда не наденет дома простонародный халат – ну, разве что дойдет в нем утром от спальни до ванной и обратно. Ей очень шла светло-серая кофточка и гладкая блестящая прическа; не вульгарные тапки она носила дома, а скромные домашние туфли из темной материи. Само собой, что и ноги она не оставляла дома голыми, а носила плотные телесного цвета колготки. На ухоженных ее руках я сразу заметила безупречный бледно-розовый маникюр.

- Вы, наверное, Марина из милиции? – приветливо улыбнулась она и, не дожидаясь ответа, повысила голос, обращаясь назад. – Агата! Агата! К тебе пришли!

Вместо Агаты в прихожей сразу же появилась девочка-подросток, почти девушка – не в традиционных джинсах с заниженной талией, над которой теперь почти у любого существа женского пола обязательно виднеется впалое брюшко, а в отличном клетчатом платье шотландской шерсти. Ни единого мазка косметики не было видно на юном любопытном личике.

- Это наша Элечка, – любовно-торжественно объяснила мне моложавая дама и бережно заправила девочке за ушко упрямую светлую прядку, отставшую от толстой косы, вольно перекинутой через плечо.

Да-да, этот удивительный ребенок носил на голове не трепанный стог сена, а почти антикварную девичью косу натурального пшеничного цвета.

- Здравствуйте, – скромно сказала девочка.

- А мы как раз садимся обедать. Агата, наверное, на кухне и не слышит. Милости просим сразу к столу безо всяких церемоний. Вы на службе и, конечно, устали и проголодались, – радушно пригласила меня бабушка.

Надо ж было так некстати попасть – прямо к людям на обед! Когда утром я позвонила Агате и попросила разрешения прийти поговорить, она сказала, что целый день будет дома, я не слишком из-за этого поторопилась – и вот, пожалуйста, вляпалась. А впрочем, вляпалась ли? Почему бы и не пообедать, если милые, приятные люди от души приглашают за стол? Ведь с начала болезни бабы Тани слово «обед» означало для меня быстрый перекус в забегаловке – чашкой кофе, пластиковой коробочкой безвкусного салата и парой сосисок или котлетой с ломтем хлеба – и так изо дня в день... Утром я съедала бутерброд с сыром, а вечером варила себе пачку одних и тех же пельменей и, щедро полив их сверху кетчупом, устраивалась на диване перед телевизором... Что такое суп или жаркое я уже почти забыла, как и то, что можно есть на крахмальной скатерти, вилкой и ножом, каждое блюдо – с отдельной тарелки... Одинокий мужчина опускается быстро – это аксиома. Но и женщина без мужского догляду тоже скоро превращается дома в неопрятное и безразличное ко всему пугало...

Наконец из кухни вышла и сама Агата – но такая Агата, что я ее не с первого взгляда и узнала. Пышная копна волос была забрана в хвост и туго перетянута резинкой. Без косметики Агата, при первой встрече показавшаяся мне женщиной-вамп, едва ли не секс-символом, выглядела почти дурнушкой. Бледная до серости кожа, светлые ресницы, обрамлявшие тусклые маленькие глаза, невесть отчего показавшиеся мне раньше огромными и выразительными, явно обозначившиеся морщины у губ и глаз, невнятное мышиноного цвета платье, невыгодно облегающее грузное тело, – и она еще казалась мне аппетитной пышечкой! – весь ее облик был как бы отмечен то ли тяжелой думой, то ли душевным раздором. Мне даже стало неловко от такой метаморфозы. Агата устало поздоровалась, и мы прошли в небогато обставленную, но чистую и уютную комнату, где у круглого стола, накрытого как раз такой хрустящей скатертью, какую я уже успела мимолетно вообразить, деловито хлопотала Элечка. Увидев, что она занимается выставлением четвертого прибора, а именно – трех тарелок, высокого стакана, вилки, ножа, ложки в строгой последовательности и хитроумно свернутой салфетки, я поняла, что меня специально к обеду не ждали, и, стало быть, семья всегда обедает так, да еще, очевидно, по упрощенной схеме: не праздник ведь и не воскресенье.

Агата уже знала, что мой визит к ней неофициальный, что я отныне на вольных хлебах, – причем, похоже, ей сказал об этом Олег еще раньше, чем я, – и поэтому полужампильярно, как никогда не заговоришь с милиционером «при исполнении», она чуть толкнула меня локтем, входя в комнату, и быстро-быстро прошептала:

- Марина, у меня к вам большая просьба: ни в коем случае не говорите при матери, что у нас там погиб человек. Она очень больна, у нее давление – еще, не дай Бог, распереживается. Мы с вами после обеда пойдем, выпьем кофе в кафешку тут рядом – и поговорим обо всем. Раз уж пришли, когда мама и дочка уже вернулись, пообедайте спокойно, но ничего лишнего... пожалуйста...

Мне оставалось только конспиративно кивнуть.

Сам обед мне не очень понравился: курицу можно было не отваривать, а поджарить, в суп я бы положила специи, а на гарнир приготовила не пресный рис, а картофель-фри. Но в этом доме, как я поняла, заботились, прежде всего, о том, чтобы пища была полезной и здоровой, а вкус предпочитали естественный, не забитый посторонними примесями: для разнообразия можно и так поесть один разок.

- Мы считаем, что не следует делать из еды культа, – с улыбкой сказала Евгения Иннокентьевна, наливая мне из белой с синим супницы первую тарелку как гостю. – Поэтому не взыщите, у нас все очень просто, без особых изысков. Мы любим, чтобы на столе были натуральные, не убитые продукты, без жира и лишней соли. Так и гастрита избежишь, и холестерина не наглотаешься. И вообще, то хорошо, что естественно.

За обедом поддерживался довольно непринужденный разговор, который не мог, конечно, не коснуться пожара, и Евгения Иннокентьевна вскользь посетовала на то, что

- А вы не видите? – бросила Агата через плечо, расстегивая пальто и открывая брякающую коробочку.

Оттуда явилось крупное красивое кольцо из резного переливчатого перламутра, оправленное в белый металл со стразами, и такие же серьги, размером с советский юбилейный рубль. Все это – и еще два больших перстня – молниеносно оказалось на Агате, а коробочка улетела в сумку. Агата застегнулась и взялась за последний пакетик, вытянув из него широкий яркий палантин плотного расписного шелка. Его она небрежно набросила на пальто – и одним движением сорвала резинку с волос. Они упали ей на плечи пушистыми кольцами, и Агата обернулась ко мне:

- Ну, как, нормально?

- Ну, вы даете... – глубоко пораженная, выдохнула я.

Все манипуляции заняли не более десяти минут – и передо мной стояла абсолютно другая женщина! Неузнаваемая. Эффектная. Невыразимо притягательная.

- Удивляетесь? – спросила она. – Все очень просто: в доме моя мама такого бы не потерпела, а я не могу ее расстраивать. Вот и нашла выход. Немного, правда, хлопотно, но ничего, за пятнадцать лет привыкла, руку набила.

- А... А когда обратно идете... – запинаясь я.

- Проще пареной репы, – Агата опять расстегнула сумку и показала мне флакон лосьона и пачку ватных дисков. – Даже вечерний крем частенько здесь накладываю, потому что у мамы твердое убеждение, что пользоваться можно только детским, а остальные для кожи – яд.

Я хлопала ресницами, все еще не сумев взять в толк, зачем, в конце концов, нужна такая конспирация: как известно, всем матерям что-нибудь не нравится в манере дочерей одеваться и краситься – но кто же на них внимание обращает? Мажутся себе спокойно под старушечье бормотание, потом ее в щечку – чмок – буду поздно – и адью. Женщине – самобытной и запоминающейся, стоявшей теперь передо мной, было не менее тридцати семи лет, а она, как школьница, исподтишка красилась в подъезде, опасаясь материнского гнева! И чьего гнева? Той деликатной, интеллигентнейшей дамы, которую и язык-то не повернется назвать «старушка» или «бабушка»! Я отказывалась верить.

- Не поняли? – улыбнулась Агата. – Сейчас объясню, пойдемте пока.

В этот момент у нее где-то заиграл мобильный.

- Да, мам, – поднесла она трубку к уху.

Мобильный был качественным, и я отчетливо услышала:

- Дочка, ты где? У тебя все в порядке?

- Да, мам, мы тут недалеко в кафе разговариваем. Все нормально.

- Смотри, не задерживайся слишком: темно будет возвращаться, – доносился заботливый голос. – Мы тут без тебя скучаем...

«А без меня никто не скучает и никогда скучать не будет, – завистливо подумала я. – Матери нет, так хоть бы ребенка родить додумалась, когда помоложе была...».

- Пошли, – сунув телефон в карман, подтолкнула меня Агата, как уже в чем-то соучастницу. – Понимаете, моя мама – не как все. Она человек с очень хрупкой нервной организацией. Слишком тонко чувствующий. Склонный к некоторым гипертрофированным фантазиям. Живущий в особом мире – несколько иллюзорном, книжном таком... Читает в институте Герцена русскую литературу девятнадцатого века – представляете, что это такое? И она сама вся оттуда, с теми представлениями, какой должна быть жизнь, человеческие отношения, место женщины... Понимаете? Такие люди – штучный товар, они на вес золота, их беречь надо... Ну, не может она осознать – не может! – что сейчас многие понятия изменились. Что мода другая. Что красиво накрашенная женщина с эффектными украшениями вовсе не обязательно проститутка. Для нее же это однозначно: красишься, украшаешься – значит, легкого поведения, и тебя никто вокруг не уважает. Студенток своих она всех считает «падшими», для нее все, что кругом, – падение нравов, причем без оговорок. Она женщина принципиальная – видели

таких? Она не пережила бы, узнав, что вне дома я другая: для нее это было бы равнозначно открытию, что я торгую собой на улице... Нет, она бы не стала ругаться – ругаться в том смысле, который вы вкладываете в это слово. Она бы... Не знаю что, но это ужасно. Один ее взгляд, бывает, такой... С молчаливым упреком... И все, мне достаточно... Или молча уйдет в свою комнату, ляжет и лежит. Просто смотрит в потолок. Она все воспринимает глубже, чем мы с вами... Однажды, например, она опустила на стул, уронила руки и сказала: «Никогда не прощу себе, что упустила собственную дочь. Ты как будто и не моя вовсе, словно тебя в роддоме подменили...». Это было, когда я сдуру второй раз замуж собралась. Теперь, когда на пять лет назад оглядываюсь, вижу, за какое ничтожество, от которого она меня одной той фразой спасла! И вообще, я перед ней сильно виновата, а она все простила – никогда зла не помнит... Святая женщина – ее все такой считают, абсолютно все, кто знает: друзья, родственники, студенты... Она такая, знаете... Бывают люди, которые – выше... К которым как бы не только грязь, но вообще ничто дурное не прилипает...

- А чем же вы перед ней так провинились? – ляпнула я и спохватилась: – Ой, извините, я, кажется, что-то лишнее...

- Ничего особенного, пожалуйста. Дело прошлое, – махнула рукой Агата. – Двадцатилетней дурой выскочила я за одного подонка, который меня потом с грудным ребенком бросил. Сейчас известный режиссер, всякая собака его знает, поэтому имени даже не назову. Деньги лопатой гребет. Только мне от него ничего не надо. Мама меня тогда еще надоумила, чтоб и отцовства его лишить, и от алиментов отказаться, чтобы, в случае чего, не предъявил бы претензий к Эле, когда она вырастет... Мать моя тогда, за два года моего брака, на десять лет состарилась! В сто раз больше, чем я, переживала... Сказала: вырастим. И растит – ни словом меня не попрекнула, ни разу... Всегда – и в садик, и из садика, и к врачу, и на музыку, и к учителю английского, и на теннис, и ночей не спит, когда ребенок болеет... Без нее я бы уже раз двадцать задохнулась – не вытянуть мне всего, я расхлябанная... А второй удар я ей нанесла, когда отказалась в школе работать. Ушла, не могла больше – и все. Зверю я от детей, когда их много, нет во мне педагогической жилки, хоть убей. И твердо сказала ей: все, уйду в журналистику. Туда звали, сюда звали, статьи неплохо шпарила, интервью стряпать насобачилась... А у матери в тот месяц волосы поседели. Сплошь. Это теперь она их подкрашивает в натуральный цвет – я уговорила, потому что почти не видно, что крашенные. А раньше так и ходила, как лунь белая, – и все из-за меня. Так неужели же за все это я одной маленькой поблажки ей не сделаю, буду раздражать ее косметикой и побрякушками?

- И вы... ни разу не попались? – задала я очередной глупый вопрос.

- Пару раз чуть не влипла. Однажды по-смешному. Возвращаюсь домой при полном параде – никого не должно было быть. Вхожу в прихожую – бац, а за дверью ее шаги! Я как была, в пальто, – опрометью в ванную! А она стучит, беспокоится, что там со мной! Потом, когда вышла, пришлось соврать, что месячные неожиданно пришли, еле, мол, до дома добежала... Другой раз – вообще могла ее похоронить. Залетела по дурости от того уroda – ну, второго, за которого замуж чуть не вышла. В общем, пришлось на аборт идти...

- Моя прабабушка говорила, что аборты нельзя делать, что это все равно как ребенка убить, – некстати ввернула я и сама испугалась: не хватает мне сейчас только в больное место ей попасть и тем отношения испортить!

Но Агата ничуть не обиделась:

- Знаю, слышала – и жалко мне было, смерть, как жалко: неделю в подушку прорыдала. Но оставить – это было мать собственную убить. Для нее ведь это означало мой позор, падение, смерть при жизни! Ну, в общем, заплатила, легла в хорошую клинику... Дома соврала, что в командировку... В палате нас двое было, за мной первой приехали, чтоб культурно так, в креслице, в операционную отвезти. А мобильник-то я отключить и забыла! И мама позвонила именно тогда... Соседка, дурища, чужой мобильник – цап – и

отвечает. Мама спрашивает: «Это ты, дочка?» – а та ей: «Не-а, ее уже увезли...». Мама кричит: «Как увезли, куда?!». Но та, по счастью, сообразила, что запахло жареным, и додумалась телефон вообще выключить. Меня спасло только то, что сотовые тогда у нас совсем недавно появились, и мама еще не умела ими толком пользоваться – ни номер проверить, ничего... Потом мне удалось ее убедить, что она ошиблась номером, а я была в поезде, вне зоны досягаемости... Вот, кстати, и кафе это, вполне приличное...

Мы вошли в действительно очень миленькое помещение с акварелями по стенам и лампочками на столиках. Устроились у стены в уголочке, и Агата сразу же распорядилась официантке:

- Так, мне двойной эспрессо и двойную... нет, тройную порцию копченой колбасы пожирнее...

Я уже не удивилась, а только улыбнулась: мама ее в обморок бы от таких слов упала!

- Ну, что? – обезоруживающе глянула она мне в глаза, когда ее гора колбасы и моя скромная чашечка были доставлены. – Начинаете беседу с главной подозреваемой?

- Почему с главной? – еще раз улыбнулась я. – Вас у меня шестеро, включая и владельца газеты.

- Неужели вы не понимаете, что это не мог быть никто из нас? – прямоком спросила она. – Потому что все мы знали о сигнализации! Я – официально знала, да и второй комплект ключей был только у меня, но, в принципе, номер мог знать каждый, никакой тайны не было!

- Потому все сотрудники и под подозрением, – пожала плечами я. – Это естественно. Приехал, отключил, налил бензина...

- Ага, и сузил круг подозреваемых до шести человек, которых вывернут наизнанку или просто выбьют явку с повинной из самого вероятного, – презрительно бросила Агата и, вообще-то, была права: осталось только найти этого самого вероятного и, желательно, с мотивом.

- А вам как кажется? – не рискнула я противоречить явному здравому смыслу.

- Ну, во-первых, мне кажется, что Лиля погибла случайно: никто не мог знать, что она там спит в кабинете. Совсем никто! Ее Олег до последней минуты отговаривал, а она капризничала... Поэтому никак не может это быть умышленным убийством, никак! Если только не выслеживали денно и ночью, по пятам не ходили... А это вряд ли.

Я кивнула:

- Похоже. Излагайте дальше.

- Ну, во-вторых... Вы только представьте себя на месте этого человека!

И тут я увидела, что Агата волнуется. Сильно волнуется, хотя пятнадцать лет постоянного лицемерия, в котором она сама только что призналась, научили ее скрывать свои эмоции, контролировать лицо и голос – но не руки, которые выдают человека с головой. А руки ее жили отдельной жизнью: то цеплялись друг за друга и за посторонние предметы, то вдруг взлетали к лицу, что есть первый признак неискренности, то ложились барьером между ней и мной, то снимали и терзали тяжелые перстни с полудрагоценными камнями... Я старалась не смотреть на них особо, но имела в виду: лживые были руки, не являли открытых ладоней, не размышляли честно, а скрывали что-то независимо от хозяйки...

- Представьте себе: вошел он, про сигнализацию отлично знает, цифры, какие надо нажать, давно подсмотрел... Если отключит, милиция это завтра первым делом проверит и сразу поймет, что свой орудовал... Не отключит – через пять минут охрана придет, пожар увидит, вызовет пожарных, и они все потушат. Ну, сгорит что по мелочи, да не то же ему нужно! Но вдруг видит подарок судьбы: огонек не горит, включить забыли! Что он стал бы делать? Да он бы все комнаты обошел и бензину налил везде с гарантией, чтоб и головешек не осталось! И увидел бы Лилю на диване. Положим, она не проснулась. Но он-то ведь только помещение поджечь хотел, не человека живьем зажарить! Что, сразу вот так просто в убийцу переделался? Не думаю... И почему только в коридоре бензину

налил, как, слышала, ваши говорили? Дурдом это все какой-то. Не свой здесь действовал, посторонний!

- А кто мог со стороны? – примерилась я. – Кого так крепко обидели? Подозрения вы, что ли, имеете?

Агата обхватила свои локти, закрываясь от меня намертво: правды от человека в такой позе не жди.

- Да это мог быть кто угодно, вообще кто угодно, – глянула она мне не в глаза, а в переносицу. – Мы, конечно, старались особенно не нарываться, но люди же разные! Мало ли, кто что на свой счет примет, да плюс больная психика! Или, допустим, фанатик какой-нибудь, сектант, решил, что мы людей развращаем, – и стер проклятое гнездо порока с лица земли... – с издевательским пафосом закончила она.

Я охладила ее фантазию:

- Все возможно, да в одно упирается: у этого сектанта все же были ключи от входной двери. Насчет этого все ваши показали твердо: либо Олег, либо вы приходили первыми, отпирали дверь ключами и клали их в карман пальто. Пальто вешали в шкафы: он – в свой, вы – в общедоступный. Поэтому выкрасть у вас, например, ключи, добежать до ближайшего рынка, сделать копию и вернуть обратно – это большого труда не составляло, но только для сотрудников! Постороннему на глазах у всех лезть в шкаф было бы, согласитесь, затруднительно! Так что, как ни крути, а наиболее вероятная версия – это, все же, один из вас, господа журналисты. А если не сам поджег, то, по крайней мере, соучаствовал, ключи передал кому-то...

Ее кисти намертво схватились между собой, губы на секунду сжались в ниточку, и она выдала:

- А если он вовсе не входил?

- Куда? – не поняла я.

- В редакцию...

Я начала раздражаться:

- Это уже из области фантастики! Не с вертолета же он слез!

- Не такой уж и фантастики! – почти зло отозвалась Агата. – За вас вашу работу выполняют, а вы еще... Что же, поехали. Поехали, поехали туда! Я вам покажу то, что вы не заметили!

Час от часу не легче – мне покажут! Агата уже швырнула на стол какие-то деньги и стремительно шла к выходу. Что мне оставалось делать? Как и любой порядочный частный детектив, я бросилась догонять ценного свидетеля...

Езды в маршрутке до места было четверть часа, не больше, и Агата все это время оскорблено промолчала, односложно отвечая на все мои попытки невинного заигрывания...

День уже блекнул, света на лестнице еще не было, но Агата уверенно шагала наверх в сумерках, пока окна не кончились на уровне четвертого этажа, и дальше нам предстояло вступить в уже довольно густую тьму.

- Здесь за перила держитесь, ступени шершавые; если не ногу, то каблук уж точно сломаете, – донесся ее строгий голос из темноты.

Пройдя один лестничный марш в полном мраке и стоя на половине второго, я заметила впереди непонятное светлое пятнышко и лишь через пару ступенек сообразила, что это сереет последний свет дня в замочной скважине железной двери злосчастной редакции. Кроме этого, ничего нельзя было видеть, но вдруг Агата сухо сказала: «Да будет свет», – что-то затрещало, и свет ливнем хлынул на площадку: оказалось, что она открыла все-таки существовавшее, но намертво забитое фанерой окно.

- Теперь смотрите, – ее палец указывал на верх опечатанной двери. – Этого до пожара не было. Хоть кого угодно спросите. Ему вообще незачем здесь быть. Ваши дверь в то утро фотографировали, и на фотках он точно есть, просто никакой идиот значения не придал. Но раньше его – не было. Значит, его приделали – тогда.

«Он» – это был темно-коричневый, под цвет стены, пластмассовый крючок, намертво приклеенный к стене современным суперклеем. Он торчал из такого места, куда ни один разумный человек не приделал бы его – ни для какой законной утилитарной цели: слева от косяка, вверху. Я уважительно глянула на Агату:

- Извините. Это мы действительно прохлопали. Всем коллективом. И это может все изменить.

Агата скромно опустила глаза. Из-за этого крючка, что ли, она ломала руки в кафе: думала, показать – не показать? Или из-за чего другого? Как теперь узнаешь? Я отступила на шаг, прикидывая, как именно использовали крючок, и натолкнулась взглядом на светлеющий глазок скважины... Что-то метнулось у меня в груди. Я протянула руку к этому глазку: да ведь туда без труда влезет мизинец ребенка! Да какой там мизинец – худенькая шариковая ручка, трубочка... Трубочка? Я перевела взгляд на крючок. Трубочка может вести к какой-то емкости, а емкость...

- Агата... – отчего-то шепотом спросила я. – Вы представляете себе, как... Как все это использовали?

- Смутно... – тоже прошептала она. – Но что использовали – это факт...

И в эту секунду у нее опять заиграл мобильный.

* * *

К тому моменту, как я добралась до дома, в голове и душе у меня уже стоял полный сумбур. Агата из списка подозреваемых мною была полностью исключена, потому что нужно быть либо законченным кретином, либо изощренным злодеем, чтобы привести сыщика на место собственного преступления и подробно растолковать ему, что к чему, – а ни на то, ни на другое Агата категорически не тянула. Зато сам список расширился безнадежно: до пяти миллионов человек. Первое свое частносъщицкое дело я с фанфарами проваливала – и мобильный запел уже у меня.

- Марина Юрьевна, ваш телефон нам всем Алька дал, чтоб, если что вспомним, вам позвонили... Так вот, у меня для вас есть кое-что очень интересное, вы спасибо скажете... Ах, да, я Жанна, помните? Ну, последняя страничка... – (Я вспомнила и содрогнулась). – Показать вам хочу вещичку одну... Когда бы мы могли встретиться?

Встретились мы с ней в очередном кафе – правда, попроще – из тех, где пластмассовые стулья, и никто не подходит к тебе с блокнотиком, а приходится мыкаться по гудящему залу со скучным типовым подносом в руках. Кофе здесь был не в пример гаже – и я им чуть не поперхнулась, заметив вихляющую между столиками Жанну. В тот день она нарядилась в короткое расстегнутое пальто с рисунком «под зебру», из-под которого виднелась рубаша огненного цвета. Девушка снова щеголяла без юбки, гордо демонстрируя миру ляжки не толще пивных бутылок. Губы и ногти на этот раз гармонировали друг с другом: и то, и другое имело смачно-черный цвет. Мне стало жутко.

За столиком Жанна долго юлила и ерзала, так что я уже начала раздражаться, не понимая, зачем она вынудила меня притащиться в эту клоаку.

- Короче, Жанна! – не выдержала я. – Я человек занятой. И если вы позвали меня сюда, чтобы поиграть в детектив, то...

Она так замотала головой, что губы не успевали за щеками, как у Чеширского кота.

- Я... честное слово... Я вам принесла очень важную вещь... И готова отдать, но... но... – и она решила на то, что делают все без исключения героини серийных книжек в дрянных обложках. – Но... не бесплатно... Ценная информация стоит... д-дорого...

Представляю себе, что случилось бы с девкой, если б на моем месте оказался кто-то поматёрей! Но и мне надоело возиться. Я грозно поднялась, зависла над ней и тихо, но очень доходчиво прошептала:

- Ты кому впариваешь, мокрощелка? Ты хоть знаешь, что за такой базар бывает? Ты ж у меня с места этого не сойдешь... – я действительно не на шутку рассердилась.

Жанна разинула свой черный рот, хотела было что-то пискнуть, но передумала, сообразив, что помочь ей никто не успеет.

- Вещь на стол положи, – миролюбиво посоветовала я.

Не сводя с меня затравленных глаз, она боком выложила на стол мятый розовый конверт.

- Откуда?

- Из к-корзины... мусорной... М-месяц назад... У-а-а-Олега в кабинете... Утром захожу к нему – а... Он-н письмо распечатывает... Конверт красивый... Наверно, д-дома из ящика достал поп-поп-по пути... А вечером вижу – оно надорвано... В корзине ва-ва-валяется... Ну, и я...я... Интересно же!

- Сгинь, – разрешила я.

Жанна распалась на атомы, а я схватила конверт.

Так. Адрес написан от руки, а на месте данных отправителя нарисована ромашка с острыми лепестками. Я выхватила письмо, развернула небольшой, но плотно исписанный с обеих сторон лист и вместо подписи увидела того же скромного представителя флоры. Вернулась к началу: обращение тоже отсутствовало. Я сомневалась только несколько секунд, но когда они минули, сомнения исчезли безнадежно. Не для того, чтобы проверить, а лишь с целью убедиться в собственной правоте, я вытащила из кармашка сумки четвертинку листа, на котором Агата вчера написала мне номер своего мобильного, приписав под цифрами крупно: Агата Нащокина. Эта чертова дюжина букв еще до того, как я прочитала письмо, рассказала мне больше, чем целая папка дела. Потому что эти упитанные, кругленькие, но вверху неожиданно готически заостренные буквы были абсолютно идентичны тем, которыми было написано письмо Агаты Нащокиной к своему непосредственному начальнику и моему клиенту.

А, теперь безразлично: я все потеряла. Ты думал, я только тебя потеряла? Нет, все. Вообще все. Усмехнешься, скажешь – дамская экзальтация? У нее мать, дочь, подруги, кавалеры – не один, так другой... Ничего этого у меня нет без тебя. И меня нет. А есть, вот уже третий месяц, бездушный манекен, привычной рукой строчащий фальшивые письма. (И это одно из них, подумаешь ты. Неправда.) Этот манекен живет только одним стремлением: дожидаться вечера, когда можно будет запереться в ванной – единственном месте, где меня никто неожиданно не схватит за руку, – достать из кармана халата конверт с нашими фотографиями и перебирать их, включив воду, чтобы никто не услышал, если я вдруг зарыдаю вслух. Все равно мама вскоре начнет беспокоиться (она почему-то считает ванную законным местом сердечных приступов), станет стучать, возмущаться, что я заперлась («От кого тебе закрываться?»). Еще я могу смотреть на них в те редкие минуты, когда остаюсь в доме одна – и то напрягшись в ожидании звонка или ключа в двери...

Их шесть, наших карточек. На одной из них мы празднуем в редакции день рождения Тamarы, и кто-то удачно заснял нас в тот момент, когда мы интимно наклонились друг к другу, что-то обсуждая. Это было в самом начале нашей любви, когда мне еще казалось, что она – навсегда. Две других сделаны в Александринском театре во время кого-то газетного форума: в зале (мы одновременно повернули головы на чей-то оклик) и в фойе во время фуршета. Ты – в смокинге, я – в вечернем платье и с жемчугом на шее, мы пьем шампанское, и ты так задорно смотришь на меня поверх бокала... Остальные три сделаны весной на конференции в Анапе – во дворце, на набережной у моря, под дурацкой пальмой – и везде, кроме нас, на снимках присутствует кто-то еще... И все. Больше у меня ничего нет, понимаешь? У меня шесть цветных глянцевого бумажек – вместо рассветов и закатов, стихов и свечей, губ, заснувших в поцелуе, ресниц, дрожащих под солнечным зайчиком, любого милого спора, где побеждают оба, потому что любят...

Нет, я вру, конечно, у меня есть, кроме фотографий, еще целая куча самых необходимых вещей: остывшая гречка за завтраком, к которой я так и не притронулась,

потому что с ночи еще не смогла проглотить комок затвердевших слез; огрызок карандаша с отпечатками твоих зубов, преступно украденный мною из твоего кабинета; фарфоровый единорог, купленный мною в твоём уже безразличном присутствии и не принятый тобой в подарок; туфля со сломанным каблучком – сломанным на твоей лестнице, когда я, ослепнув от слез, летела вниз, мечтая упасть и разбиться...

Да я богачка, скажешь ты! У многих и того нет – а только горький прах воспоминаний. А у меня еще есть почти ежедневная пытка видеть тебя с другой – и с какой другой! Мне оскорбительно даже подумать, что ты – ты! – мог променять меня – меня! – на ходячее пустое место, о котором нельзя сказать ни плохого, ни хорошего... Ты, с твоим масштабом, размахом, глобальностью – и поговорка про седину, бороду, беса и ребро...

Ты мечтал бы, наверное, чтобы я ушла совсем, забылась и растворилась, но – Боже мой! – мне некуда идти! Вся жизнь моя была путем к тебе, и я дошла до своего родного места, а путь от тебя – противоестественен, гибелен, невозможен! Я ведь ничего уже не прошу, ни о чем не мечтаю. Это раньше я накопила целый короб мечт и вынимала под настроение по одной... Вот мы вдвоем, взявшись за руки, бежим по золотой воде... Вот бредем меж махровых сосен по скользкому хвойному ковру... Вот... Да какая теперь разница – мне уже хватает того, что ты где-то есть, что-то делаешь каждую минуту моего безотрадного бытия... Разреши мне – хотя бы в память того, что было, иногда в этих письмах раскрывать тебе мое сердце, потому что иначе оно разорвется и убьет меня. Я не против, но ведь есть еще долг перед близкими – спасибо ему. Разреши мне просто быть.

Я едва перевела дух, руки мои явственно дрожали. Попади это письмо не ко мне в руки, а к следователю – и Агата мгновенно оказалась бы тем «самым подозрительным из всех подозреваемых» и, допуская, достаточно скоро подписала бы не только поджог, но и умышленное убийство. А там иди, доказывай на суде незаконные методы воздействия! Ай, да Жанна! Ко мне пошла, не в милицию! Впрочем, дура денег надеялась вытянуть, хоть на шампанское, да и Олег строго велел всему коллективу звонить именно мне, если кто что вспомнит... Идиот. Надо же было самому рассказать подозреваемым, что их прорабатывает частный детектив. Хотя, какой я частный детектив, к едрене фене! А Олег, похоже, никого из своих не подозревает, наивно полагая себя тем суком, на котором все сидели, или колодцем, откуда черпали воду: кто, мол, срубил или плюнет? Вчера еще, прочитав это письмо, я сказала бы: Агата. У нее был мотив, а это серьезно. Поджог – мечь бросившему любовнику и заодно – сожжение мостов: сама ведь призналась в письме, что уйти никак не может... А смерть Лили... Если копнуть поглубже, может и докопались бы, что Агата как-то узнала, что Лиля там спит – и пошла ва-банк. Удачно пошла: любовнику спалила целый капитал, а соперницу физически уничтожила. Теперь можно его пожалеть, посочувствовать – он на груди у нее поплачет-поплачет и, благодарный, вернется... А что, вполне реальный исход дела! Сейчас подключить своих ребят, нажать как следует на Агату... – и можно забирать свой первый нехилый гонорар...

Так бы я и сделала, будь я хоть чуть-чуть посчастливей, чтоб ее не понять, или она немного поудачливей, чтоб я могла ей позавидовать... Пачкаясь в кофейной гуще, я мусолила губами край давно пустой чашки и в четвертый раз перечитывала письмо... Женщина, пишущая о солнечных зайчиках и единорогах, о ресницах и пальмах, умеющая назвать воду – золотой и заснуть в поцелуе... Эта женщина, которая почти в сорок лет красится в подъезде, чтобы не расстроить большую маму, – хладнокровно сожгла живьем девушку всего лет на пять старше собственной дочери? Ну, девушка, может, и случайно подвернулась, – а целый этаж дома Агата спалила-таки? Дичь. Хотя Гитлер был вегетарианцем, а один изверг, вполне трезво зарезавший родную мать и сестру с малолетней племянницей, – когда мы уводили его, серьезно горевал о незавидной участи своих золотых рыбок... Но Агата? И при этом еще сама показала мне крючок и замочную

скважину? Надеюсь, что ничего не докажу? Но ведь до того со спокойным цинизмом продемонстрировала знание того, как получают чистосердечные признания! Ну, не выстраивается у меня такая головоломка, потому что слишком в ней все сложно, а решение-то простое и, вместе с тем, нерешаемое: не понравилась кому-то газета в целом или статья в частности... У Агаты был роман с Олегом – и что? За это ей сто пятую навесить? Я успокоилась и достала телефон:

- Олег, мне нужно задать вам сугубо личный вопрос.

- Пожалуйста, Марина, я в вашем распоряжении.

- В каких отношениях вы были с Агатой Нащокиной?

- Судя по вопросу, вы уже и так знаете.

- В общих чертах, а от вас хочу узнать подробности.

- Но вы же не думаете, что это она...

- Не думаю. Это не она. Потому вас и спрашиваю, чтобы заняться другими.

- Понимаю... Хорошо... У меня были с ней отношения, только... Боюсь, что как женщина вы меня не поймете.

- Мне и незачем понимать вас как женщине. Мне важно понять вас как детективу.

- Ладно, попробую... Вообще-то, я не придерживаюсь принципа «на работе – ни-ни», потому что положение у меня... особое... и в случае осложнений я всегда могу... могу...

- ...уволить. Это понятно. А если она пикнет что-то у конкурентов, то вам же реклама. Продолжайте.

- И хорошо, что вы так непредвзято относитесь... Но Агата – не тот случай. Во-первых, она была реально ценным работником, да и душой ее не назовешь. Думал – так, проветрюсь, да и чувства к ней испытывал дружеские... Хотя вообще она не в моем вкусе, да и возраст... Ну, в общем, длилось несколько месяцев, без особых восторгов, а потом я мягко дал почувствовать, что хватит. Думал, она поймет, не юная ведь... Не поняла. Пришлось допустить несколько... Скажем так, резкостей. Но без хамства. Хамить женщине, с которой спал, – дело последнее. А на нее не действует – как заклинило! Лицом чернеет, глаза вечно мокрые, словно похоронила кого... И письма мне шлет, одно за другим – вы бы только почитали! Собрать их в подшивку – и готовая история болезни. Я такого не ожидал, честно скажу – иначе ни за что бы не ввязался. Тем более, Лилю встретил... И полюбил... А тут эта... Хотел уж увольнять ее, да жалко: работала гениально. Письма читателей эти, да психолог, которого она придумала, – все это было гвоздем газеты – Тамарка так, на подхвате, одна бы не вытянула... Пока решал, как поступить, Агата, вроде бы, успокоилась... Месяц уже писем не было, да и сама гораздо лучше выглядит, со мной нормально разговаривает. Может, замену мне нашла, не знаю – спрашивать-то, сами понимаете, неудобно... Вот, собственно, и все...

- А письма ее где, у вас?

- Ни в коем случае. Зачем мне такая мина? Если кто найдет – это ж засада. Я все уничтожил.

- Как именно уничтожили? Сожгли?

- Какие – сжег, какие – порвал и выкинул. А... А вы точно уверены, что это не Агата?

- Точно. Можете быть спокойны. Это все пока, я вам позвоню по ходу дела. Спасибо.

- Да не за что... Буду ждать, Марина! Вам спасибо, что хлопчете, не отказались... Найдите его, Марина! Найдите его, пожалуйста! Не ради денег... А для души моей... Для вечного покоя моего найдите...

- Я постараюсь, не волнуйтесь... До свидания, Олег.

- До свидания, Марина...

Не дав себе опомниться, я набрала другой номер, с бумажки. И уже через полчаса она вбежала в кафе – в том же коричневом пальто и ярком шарфе, но подкрашенная явно в большей спешке, чем вчера. Подлетела и безмолвно опустилась напротив, тревожно прощупывая мое намеренно непроницаемое лицо своими вновь показавшимися большими и живыми глазами. Я молча достала из сумки и через стол пододвинула Агате мятый и

рванный розовый конверт – она вспыхнула. Даже на взгляд было заметно, что сердце у нее подскочило. Резко сложила письмо пополам и, на миг задержав в руке, затолкала в сумку. Я намеренно молчала, вынуждая ее самой начать разговор – если вообще тут было о чем разговаривать: на ее сокровенное я права не имела. Агата опустила глаза:

- Не смотрите так. Ну, да, да, было – что в этом такого! Четыре с чем-то месяца длилось – обычный срок мужского увлечения, – она коротко и горько хохотнула. – Потом у него прошло, а я... А у меня осталось. Потому что решила сдуру, что все по-серьезному. Он на эту... Лилю... перекинулся, а я как ополоумела... Такого со мной никогда не было. Поверите ли – даже к экстрасенсу ходила – вернуть надеялась, совсем крыша поехала... Меня кругом уговаривают: опомнись, дело-то обычное! А я ходила, будто у меня умер кто-то. Ходила и сама себе удивлялась. Письма ему писала – штук сорок, наверное! Это, розовое, – последнее... Конверт смешной попался...

- Последнее – значит, отпустило? – искренне сочувствуя, спросила я.

- Нет, надежда умерла, – на мгновение зажмурилась Агата. – До того казалось, что вот одумается, вернется... Мужик-то неглупый... А потом перегорело. Знаете, я теперь даже и не хотела б, чтобы вернулся. Вроде, и любовь не ушла, а возврата уже не нужно. И сказать ему нечего... Странно, правда? У вас такое бывало?

- Нет. У меня вообще не так все бывало, – честно созналась я, немного даже завидуя ее беде: мои-то страстишки, как сухая кора, всегда сгорали, оставляя классическое пепелище, а вот так пострадать – красиво и всласть – не пришлось, хотя, может, была бы я и не против...

- А знаете... Знаешь... Можно на «ты», ведь мы же в одном весе? – нерадостно улыбнулась она. – Самое тяжелое мне пришлось испытать – дома... Чтоб Элечка и мама, не дай Бог, на заметили... Мама и так стала спрашивать, не заболела ли я. И вот, я до сих пор, как Русалочка у Андерсена, которая по ножам ходила, помнишь? Я даже повить в подушку не могу – ведь в одной комнате с дочерью живем!

- А почему у вас имена такие – Агата, Эльвира? – чтобы отвлечь ее от тяжелых дум, спросила я. – У вас какие-нибудь корни иностранные примешаны, что ли?

Она покачала головой:

- Просто маме так захотелось. Она ведь утонченная такая, вы же видели... Русские имена ей кажутся слишком... простецкими, что ли... Да мое-то имя мне нравится, а Элечка... Господи, да лишь бы здорова была!

Мне очень захотелось чем-нибудь ее утешить, ободрить – выиграла все-таки женская солидарность – да и просто симпатичней с каждой минутой становилась мне эта крупная невеселая женщина, так беспомощно обмякшая напротив на неудобном стуле.

И вдруг мне пришла в голову благая идея:

- Агата! – неожиданно выпалила я. – А пошли со мной завтра в гости, на день рождения!

Она вытаращила глаза:

- В какие гости? К кому?

Я начала соблазнять ее, как маньяк ребенка – конфетой:

- В отличное место, к моей знакомой художнице. Она в мастерской всегда все справляет, я бываю иногда, там открытый дом, очень забавно, ты развеешься! Пора встряхнуться, Агата! Ну, подумаешь, несчастная любовь – тебе что, шестнадцать лет, что ли?

- Но это же твои друзья, я их никого не знаю, это неудобно! – отбивалась она.

- Очень удобно, у них полгорода друзья, они всем рады, никаких проблем! – с удивительной горячностью уговаривала я.

- А что... Может, действительно... Развеяться... – заколебалась Агата. – А то ведь так и до Кащенко недалеко...

При слове «Кащенко» я невольно вздрогнула...

Даша-художница прилепилась ко мне – или я к ней – несколько лет назад, проходя свидетелем по заурядному взлому. Она так и не стала близкой подругой, но в ее добром и бесшабашном доме я любила иногда отдыхать душой. Кроме того, имелась у меня и своя, особая, глубоко запрятанная причина появляться там на все праздники...

*

...Он учился в десятом классе, а я считалась «малышкой» в моем восьмом. Внешностью Паша Волынский никоим образом не выделялся, являя собой самый распространенный тип здорового русака. И вот поди ж ты – не смазливый брюнет Лёня из его класса, не смуглый с сентября по ноябрь ярко золотистый Витя из девятого зацепил мое метущееся девичье сердце. И Паша обратил внимание не на одну из расцветающих недолговечной красотой одноклассниц, а на меня, едва-едва (правда, первой в своем классе) расставшуюся с девичьей косой. Поначалу мы робко переглядывались в коридоре на переменах, где подойти и заговорить было невозможно, согласно неписаному правилу: старшие, да еще выпускники, не мараются общением с маленькими, а, напротив, подчеркнуто не считают их за людей. Лишь несколько раз в год, на школьных вечерах с танцами, все старшеклассники уравнивались в правах, и допускались «межклассовые» смехохушки. Вполне приемлемо было и «хохмы ради» пригласить на медленный танец младшую девочку – и этим правом Паша воспользовался на Новый год. Мы потоптались в полутьме единственный медленный танец – причем, я потеряла дар речи от восторга и гордости перед своими. Но Паша, мозговитый и языкатый парень, уже знакомый с бритвой, сумел ненавязчиво раскрепостить меня, пустив в ход беспроегрышный способ – а именно, метко и язвительно раскритиковав наряды и прически моих подруг. В результате, со школьного вечера мы сбежали вдвоем, а на улице вдруг хором почувствовали зверский голод и жажду.

В ту пору встретить в восемь часов вечера открытый продуктовый магазин, да такой, чтоб там еще и оказались продукты, равнялось встрече с живым Дедом Морозом. Тем не менее, один мы все-таки отыскали и купили там – нет, не бутылку и закуску, а два треугольных пакета молока (были тогда такие – белые, с сине-красным геометрическим рисунком) и буханку круглого черного хлеба (такого тоже уже лет пятнадцать не пекут). С того именно вечера я никогда не ем черный хлеб за столом, потому что он всегда нарезан аккуратными тонкими ломтиками, а это и не хлеб вовсе, как я выяснила двадцать с лишним лет назад. Хлеб – это отломанный от краюхи здоровенный кусок с хрустящей корочкой, еще не нюхавшей полиэтилена, и с кисловатым генетически родным запахом – ржаного поля в полдень, макушки ребенка, солнцем залитой комнаты с распахнутым в сад окном...

С тех пор мы стали, как тогда называлось, «ходить вместе». Что это значило? Да ничего особенного. После занятий Паша поджидал меня в условленном месте, и мы шли болтаться по городу, искренне не думая об экзаменах: он – о выпускных, я – о переводных, едва ли не более важных. Именно в те годы перевод в девятый класс считался уделом если не избранных фортуны, то, по крайней мере, людей не последних: остальные, в массе своей, «гремели в ПТУ» и разные рабочие училища вроде текстильных. Чтобы поступить в элементарное пед- или медучилище, требовалось уже держать непростые экзамены. Ну, а у Паши задача была еще прозаичней: получить мало-мальски приличный аттестат, чтобы, опять же, не «загнать» в армию. Так вот, все это мы находили гораздо менее привлекательным, чем целоваться в подъездах у тогда еще исправно работавших батарей и пить молочный коктейль за одиннадцать копеек в любимом «подвальчике», где какой-то умелец, наверняка, со специальным образованием, изобразил на белой кафельной стенке большую румяную девочку со светлой челкой, васильковыми глазами и пенящимся стаканом коктейля в руке; как-то подвальчик закрыли на ремонт и, когда спустя месяц, мы обнаружили его снова открытым, девочка исчезла: весь кафель заменили на безлико-бежевый, а на месте чудного, веселого ребенка

красовался издевательский плакат: «Хлеба к обеду в меру бери: хлеб – драгоценность, его береги!». Было до слез жалко девочку – ее ведь, наверное, попросту сбили со стенки долотом! – и обидно за себя. Коктейль после этого мы как-то разлюбили...

Конечно же, мы клялись друг другу в вечной любви и имели твердое намерение пожениться через три года – то есть, когда мне стукнет восемнадцать... Ага, размечтались, как же!

Как раз тогда, в начале восьмидесятых, почти одновременно на советские экраны самым невероятным образом попали два фильма, совместными усилиями махом разложившие целое поколение молодежи. Теперь, будучи взрослой, я твердо убеждена, что это было по недосмотру пропущенное вражеское вредительство, – а тогда выход двух таких фильмов показался нам двумя большими глотками свободы.

Один был о любви отечественных старшеклассников, которых препоны, воздвигнутые злобными родителями мальчика, довели до трагедии. Подразумевалась (с некоторой долей сомнения) полная невинность отношений тех школьников – показано было лишь одно подобие мимолетного поцелуя с расстояния около двухсот метров. Зато во втором фильме, невесть какой сволочью закупленном в одной из соцстран, и вызывавшем уже полнокровный шок, старшеклассница делала криминальный аборт, показанный чуть ли не в подробностях... В обоих фильмах злосчастные влюбленные оказывались невинными жертвами зверей и тиранов родителей, никак не желавших взять в толк, что их детей в шестнадцать лет посетило вечное чувство, и не торопившихся со слезами умиления приглашать в дом малолетнюю невестку или зятя, не отравившего усов...

Оба фильма мы честно просмотрели, взявшись за руки в последнем ряду, – над первым поплакали, после второго глаз друг на друга поднять не смели, недобитой душой почуяв мерзость. Тем не менее, это не помешало нам и тысячам нам подобным по всей стране почувствовать себя возвышенными героями (вспомним – нельзя иначе! – Ромео и Джульетту), терпящими гонения и притеснения – ибо последние не замедлили явиться.

Учителя (как известно, в подавляющем большинстве – забитые тяжелой жизнью и неудачами на личном фронте женщины) давно уже преследовали нас змеиными взглядами, а когда добрые люди раскрыли глаза на правду моей бабе Тане и родителям Паши... Баба Таня махнула рукой – дело, мол, молодое – зато мать моего Ромео, огромная женщина весом не менее полутора центнеров, сразу превратилась в кандидатку в сумасшедший дом. Сама она принадлежала, как считалось, к «правлящему классу», но из всех сил старалась выглядеть «дамой», что, по ее простым представлениям, прежде всего, обуславливалось наличием ворсистой бордовой шляпы. Кстати сказать, моя прабабушка, в свои семьдесят пять лет выглядевшая едва вышедшей на пенсию, партийных шляп никогда не носила, как и простонародных платков, обходясь пригодным на все случаи жизни демократичным беретом.

Пашина мать, лицом в тон своему головному убору, одним трагическим утром явилась в школу, церемониальным маршем проследовала в кабинет директора, куда сразу же нырнули вслед за ней две наших классных, а спустя десять минут меня вызвали с урока ненавистной биологии – из двух преступников меня одну. От неминуемой двойки я в тот день была избавлена, но, пожалуй, вместо того, что получила взамен, предпочла бы единицу. В четверти. Нет, в году. Потому что настоящая школа жизни началась для меня именно в тот гнусный час, когда мне преподнесли сразу несколько суровых уроков, не раз потом в жизни пригодившихся.

Но главным был тот, что за содеянное вдвоем с мужчиной расплачивается женщина – и только она. Мужчина «по умолчанию» всегда сторона едва ли не пострадавшая – и первый пример показал нам славный Адам: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел»...

Пашу вообще не тронули; ему не сделали ни одного замечания и не задали ни одного вопроса. Это я была –

- Малолетняя проститутка! Я не понимаю, куда вы, педагоги, смотрите! Почему она до сих пор не на учете в милиции – за то, что пристаёт к юношам с развратными целями! Прохода моему сыну не даёт! Вообще стыда нет! Бедный мальчик не знает, куда деваться!

- Но... Я не пристаю... У нас взаимное чувство... Чистое... Мы, честное слово... – имела глупость пропищать я.

- Чо? – даже удивленно повернула на меня крокодилий глаз предполагаемая свекровь. – Ты чо там вякаешь, кривоструйка? Ты чо, этой, как ее... Джульеттой себя воображаешь, что ли? Я тебе щас такую Джульетту покажу – вовек у меня не забудешь... Где ее родители вообще, почему я их не вижу? Как это – одна прабабушка? Вы что, с ума тут все походили? Куда РОНО глядит? Это ведь значит, что ей вообще никто не интересуется! Она же просто по улицам шляется! Да ее и в столовую нельзя пускать, где дети едят, чтоб не заразила... А она... Моего сына! Гонореей... Сифилисом... – (Хорошо, хоть СПИДа тогда не знали). – Все будущее ему... Да вы что тут... Из школы публичный дом устроили... Я писать буду... Я пойду... Ее же надо в спецдетдом... Господи, да за какие ж грехи... сына... И это в советской школе!

- В общем, так, – сочла своевременным подвести итоги директриса и обратилась ко мне: – Если еще раз – где-нибудь – когда-нибудь – тебя увидят ближе, чем на пять – нет, десять – метров к Паше Волынскому – то в тот же день – слышишь, в тот же день! – ты будешь стоять на учете в детской комнате милиции. А на следующий – РОНО подаст в суд на лишение твоей прабабки опекуна. И поедешь ты как миленькая на оставшиеся три года в детский дом. Поняла? Поняла, спрашиваю?!

Меня брали на понт. Лишить опекуна старого заслуженного большевика бабу Таню было практически невозможно. Во всяком случае, на это потребовались бы минимум те три года, что оставались до моего совершеннолетия, потому что бабушка билась бы за меня, как за Родину. Это я теперь понимаю, а тогда оледенела – нет, ополоумела от страха. Призрак детского дома преследовал меня днем и ночью еще несколько месяцев, стоял в гадких учительских взглядах, нависал над каждой прогулкой, над каждым украденным телефонным разговором.

Добавилось еще и другое мучение. О разборке в кабинете директора, конечно, на школьной линейке не объявляли, но все равно неведомыми путями о ней стало известно кругом, и это послужило словно неслышной командой: «Ату ее!». Первый звонок прозвенел в девичьей физкультурной раздевалке, когда я, подвинув на скамейке чужую сумку, чтобы получить себе место, вдруг услышала от Ани Морозовой, первой в классе оторвы: «Не смей трогать мои вещи своими б...скими руками!». С этого момента, если я вдруг касалась чьей-то собственности или даже просто чужой парты, девчонки начинали сразу изо всех сил тереть это место платком или демонстративно мчались мыть руки с мылом. Они, конечно, не боялись никакой заразы – просто ни у кого из них еще не было «своего» парня, и они поголовно смертельно завидовали мне, первопроходцу на тернистом женском пути. Когда я входила в помещение, ученицы замолкали на полуслове, и даже моя лучшая подруга Юля, повинувшись жестокому нажиму большинства, в случае неповиновения грозившего обструкцией и ей, пересела от меня за парту к одинокой тихоне, которую мы вместе, бывало, высмеивали... Когда однажды староста «забыла» включить меня в список на посещение Золотой кладовой, я пожаловалась классной – и что же услышала в ответ? «А что ты хочешь? Наши девочки – все сознательные комсомолки. Они возмущены твоим поведением и не хотят иметь с тобой ничего общего».

«Обструкция» длилась с апреля, когда открылся мой подлинный аморальный облик, по конец экзаменов, а в сентябре все сделали вид, что ничего такого не происходило, потому что сами за лето повлюблялись – пришла пора. У них пришла, а у меня – закончилась.

Двое взрослых людей, оказавшись со своей «неудобной» для других любовью во враждебном окружении, еще могут как-то бороться с обстоятельствами и людьми, но редко побеждают: чаще всего, пройдя через трагедию, расстаются. Только единицы

ухитряются выстоять в неравной борьбе, но и их победа имеет отчетливый горький привкус... О подростках, находящихся в зависимости от родителей и педагогов, нечего и говорить: они обречены. Редкие случаи счастливых «школьных» браков возможны только с чьего-либо благосклонного и, в общем, мудрого разрешения...

Конечно, мы с Пашей не подчинились после первых окриков, конечно, продолжали свои конспиративные встречи у третьего помойного бака второй подворотни налево, но грянули экзамены – мои, его, потом опять его... Встречаться стало все труднее и труднее, и, как водится, мужчина устал первым, а мне пришлось смиряться. Смиряться и плакать, как это делали все от века женщины, хоть раз любившие...

Мы увиделись вновь два года назад – как это принято говорить, случайно. Оказалось, что одна из многочисленных знакомых Даши-художницы была замужем именно за ним, в перестройку переметнувшись из инженеров-конструкторов во владельцы сети мелких магазинчиков. Она побыла немножко его женой, приохотив мужа к посещению Дашиной мастерской – и развелась, раздружившись заодно и с Дашей. А Паша остался в редких, но постоянных приятелях, особенно ценимый и приглашаемый за то, что не раз и не два покупал у нее акварели, не зная, с каким подарком идти в гости к другим людям... Я появилась в мастерской, когда Паша был уже прочно разведен, замотан бизнесом и посажен на алименты. Мне он каждый раз радовался, как ребенок, непринужденно болтал со мной на все темы, не касаясь лишь прошлого – считая его то ли не заслуживающим внимания, то ли, наоборот, чересчур болезненным для лишних прикосновений. Несколько раз он даже звонил мне, и разговоры всегда сводились к тому, что на днях нужно обязательно где-то встретиться и «посидеть», но в следующий раз мы опять «сидели» на очередном празднике у Даши... Внешне Паша заматерел, еще более порусел, возможно, благодаря объявившейся красивой густой бородке, внутренне обогатился и расцвел, похоронив маму и приняв Православие, чем несказанно порадовал бы бабу Таню, доживи она до этого известия...

И вот, примерно раз в месяц собираясь на настоящее или придуманное торжество к Даше, я всегда втайне надеялась, что именно этот день и станет поворотным, и мы, наконец, договоримся о конкретной дате «посидения», а потом жизнь моя, сделав аккуратный круг, замкнется на самом начале, доказав правильность избранного пути. Чтобы окружающим уж слишком не бросалось в глаза, что я «высидиваю» Пашу, я всякий раз старалась прихватить с собой еще кого-то – для того и требовалась мне теперь Агата.

На беду ли, на радость пришла в мою взбалмошную голову эта идея, знать мне было тогда не дано. Но в одном я не ошиблась: Паша Волынский и на этот раз не изменил своему правилу приходить в Даше на любое подобие праздника, вновь не преподнес даже маломальского сюрприза, потому что название ее духов благо разумно заучил еще в самом начале знакомства, и, как обычно, имел в кармане известную сумму, чтобы купить у Даши оригинальный подарок третьему лицу.

Агата пришла со мной в длинном черном платье, порадовав, верно, маму проявлением хорошего вкуса, но забыв сообщить ей, что намеревается потом набросить поверх него васильково-голубую тунику и надеть свое единственное уцелевшее, но впечатляющее кольцо; ее волосы, разбросанные по плечам, отливали старым золотом – словом, было на что посмотреть, богема оценила.

Перецеловавшись, как это у них принято, со всеми, я оглянулась на Пашу, ожидая увидеть его обычный виновато-радостный взгляд, обещающий, что уж на этот-то раз... Паша не смотрел на меня вовсе, а почти что неприлично не спускал глаз с Агаты и даже не посчитал нужным – или попросту не мог – скрыть свой восторг, восхищение, преклонение перед этим внезапно явившимся божеством. И Агата, раз глянув в его сторону, уж больше не отвела взгляд, который сразу смягчился и просиял не характерной для нее доверчивостью. «Не знакомы ли они, часом?» – мелькнула у меня мысль – до того сердечно, по-родственному сразу заговорили эти двое... Нет, они никогда раньше не

видели друг друга – просто, наверное, именно вот так выглядит любовь с первого взгляда, когда кому-то доводится наблюдать процесс со стороны...

У меня вдруг тупо заболела голова: ничего удивительного, когда мало спишь, много думаешь и нерегулярно питаешься. И мне как-то враз неинтересна стала Даша с ее посредственными картинками и аляповатыми поделками, вся эта нудная, в общем, толпа гостей – людей из абсолютно чуждого мне растрепанного мира – захотелось пойти домой, налить себе чаю из трав, посадить на колени дымчатого кота Масона (названного так одним из моих бывших мужчин за неистребимую склонность к тайным подлым деяниям), тоскливо поиграть пультом телевизора... Я забила в угол дивана со стаканом чего-то невкусного в руках – и боль тяжело перекатывалась в затылке, как ленивые бильярдные шары, гоняемые рассеянным кием...

А та пара видела только друг друга но, как будто поддерживая неважный общий разговор, мужчина и женщина говорили один в другого, впитывая кожей и мгновенно забывая все слова. Этот разговор был из тех, которые потом совершенно невозможно вспомнить, потому что он ведется вовсе не ради обмена информацией и, если бы вообще его можно было перевести с сокровенного на русский, он звучал бы примерно так:

- Знаешь, я, кажется, могу тебя полюбить и уже понемножку начинаю это делать.

- И я тоже. Интересно, у нас действительно получится что-то путное, или опять выйдет обман и самообман?

- Очень хочется верить, что путное, потому что мне пришлось пережить столько разочарований, что больше я, наверное, не выдержу.

- И я. Я тоже стою у самого края, и – видишь – изо всех сил пытаюсь схватиться за тебя.

- А я – за тебя. И за надежду, что у нас с тобой выйдет, не как с другими.

- А вдруг не получится? Ведь однажды такого можно и не пережить.

- Не в этот раз. Посмотри мне в глаза – видишь ты в них свой близкий конец?

- Нет, я вижу свое близкое счастье. А ты – ты дотронься до моей руки – и сразу поймешь, что она создана для твоей.

- Мне страшно.

- А мне, думаешь, нет? Вдруг опять...

- Нет, нет, даже не начинай думать так: на этот раз все сложится.

- Конечно. Конечно. В любом случае, от такого не отказываются. Давай попробуем?

- С радостью. Давай.

При этом разговор может идти и о войне африканских племен, и о вчера дочитанной книге, и о скачке цен на нефть. Слышала я такие разговоры. Видела их и сама вела – каждый раз одинаковые. А потом – пробовала. И ничего у меня не получалось, оттого я и сидела в уголке с головной болью и стаканом, подслушивая и подглядывая чужой стговор, который ничем не перебьешь.

Они ушли раньше меня – очень прилично: «Ой, я совсем забыла, что мне завтра рано вставать на собеседование... Ничего-ничего, не беспокойтесь, дойду... Вот Павел любезно согласился меня проводить, чтоб я не заблудилась в ночи, ха-ха... Так приятно было познакомиться, такой милый дом, такие прелестные картины...». («Да скорей бы уж убраться из этого гадюшника и по-настоящему поговорить с тобой наедине! Надо же, какой прилипчивый здесь народ!»). «Ладно, не обижай их, они хорошие, если б не они – мы б не встретились... Так, спокойно, уходим, не гляди по сторонам, а только на меня...».)

Я подседа к столу и стала выпивать и закусывать.

*

Весь следующий месяц работа моя, все чаще прерываемая нетерпеливыми звонками Олега, состояла в том, чтобы доказать ему и себе, что преступника найти невозможно. Из сотрудников твердого алиби не имели только Жанна и Агата. Но заподозрить Жанну в

постановке хитроумного спектакля мог только параноик. Потому что самостоятельно она могла бы изобрести только бумажный самолетик. Теоретически мог существовать сговор имевших алиби сотрудников с кем-либо со стороны, но чтобы установить это, нужно было иметь хотя бы намек на то, в какую именно сторону смотреть. Я проверила героев наиболее острых, по мнению Олега, публикаций за последние три месяца – и лишь напрасно стоптала крепкую пару сапог: если концы где и болтались – то под черной водой. Гибель Лили при любых обстоятельствах, получалась случайной, потому что еще за пять минут до того, как она осталась ночевать в редакции, об этом точно не знала даже она сама. Предположить, что убийца, поджидавший удобного момента, день и ночь караулил у дома и, увидев, что девушка не уехала со своим любовником, дал ей время заснуть покрепче и воспользовался счастливым случаем? Можно, конечно, и не такое придумать, но уж очень это будет смахивать на трагедию Шекспира – или на современный бульварный детектив. В конце ноября у нас с Олегом состоялся тяжелый разговор. Выходя из себя, он требовал преступника для немедленной расправы «в течение трех дней и ни минутой позже». Мне тоже надоело строить из себя послушную исполнительницу барской воли потому только, что весь месяц он меня исправно подкармливал.

- Вы чего, в конце концов, хотите? – вспыхнула я, отставляя ресторанный чашку. – Вы хотите поймать настоящего преступника или отвести душу хоть на ком-нибудь?

Он пробормотал что-то, опустив глаза, и до меня дошло, что через месяц с лишним ожидания он уж и согласился бы на второе, если бы не считал себя культурным человеком.

- Тогда возьмите на растерзание Агату: у нее одной нет алиби, потому что мать и дочь не в счет, есть мотив, потому что вы ей плюнули в душу, – и достаточно интеллекта. Положите ей горячий утюг на живот – и она сознается. Потом можете ее хоть повесить с чистой совестью. Вам такое правосудие нужно? – наехала я на беззащитного мужчину.

- Не нужно... Я никогда ее не подозревал... – промямлил Олег, видимо, еще не избывший остатков вины перед ней.

- Я тоже не подозреваю, – честно сказала я. – И даю вам девяностодевятипроцентную гарантию: это посторонний. Любой. Кому не понравилась газета или вы лично. Не в наших силах проверить пятимиллионный город, если нет конкретных подозреваемых...

На том мы и расстались: он – с дополнительным разочарованием в раненом сердце, я – со среднего достоинства суммой в кошельке. Можно было дойти, наконец, куда я месяц назад не дошла: в терпеливо ожидавшее агентство – и начать исполнять прямые обязанности, например, слежку за неверными мужьями. Просто и прибыльно. Но на душе было тошнехонько.

Теперь-то Паша звонил мне каждый день, и мы даже два раза «сидели» в кофейне – вот только предметом наших разговоров было не совместное счастливое будущее или, хотя бы, несчастное прошлое, а Агата, Агата, Агата. Мы говорили о том, как непонятно она посмотрела в минувший вторник, словно хотела что-то сказать и не решилась. Что бы это могло значить? – рассуждали мы. О том, каким странным голосом говорила в среду утром по мобильному – и быстро смяла разговор. Не начинает ли она разочаровываться в Паше? О том, как задумалась вдруг на целых две минуты и тридцать восемь секунд, так что совершенно не слышала тех интересных вещей, что Паша ей сообщал. Может, она задумалась о другом мужчине? А вчера, когда они гуляли в Александровском саду, у нее зазвонил телефон, и голос в нем был мужской, – и Агата так мило болтала с этим мерзавцем, а потом сказала, что звонил начальник из той новой газеты, куда она, должно быть, скоро пойдет работать. Разве с начальниками так разговаривают? Ведь Агата – моя подруга, это я ее привела к Даше – должна же я знать? А может, я что-то скрываю, и у Агаты еще кто-то есть? Может, она с ним, с Пашей, только развлекается, чтобы потом посмеяться? Хотя, когда они вместе, так не скажешь. Когда они вместе – это упоительное счастье, только вот она все грустит и задумывается, а вообще – так очень ласковая. Всякие

такие мысли его одолевают только после того, как он проводит ее домой. Надо же с кем-то поделиться, а с мужиками знакомыми нельзя – засмеют за то, что из-за бабы такие сопли пускает. Хорошо, что ему повезло иметь женщину-друга, меня то есть. Всегда и выслушает, и посоветует, и подскажет что путное...

А что я ему подсказать-то могла? Что до дня рождения Даши видела Агату ровно три раза – и всякий раз как подозреваемую в поджоге и убийстве? Что и подозревать-то ее я перестала не потому, что кто-то или что-то доказало мне ее невиновность, а исключительно из-за непрофессиональной личной симпатии, убедив себя неопровержимым: «Не может быть, потому что не может быть никогда». А еще лучше было бы заявить ему, что Агата, вообще-то, любит другого, – и раз еще месяц назад любила, то едва ли так быстро прошло. Потому и грустит, и задумывается, оттого и выглядит подчас странно: пытается женщина утешиться с приятным человеком, убеждает себя из последних сил: «Этот – хороший, а тот – дерьмо. Мне гораздо лучше будет с этим, а того лучше забыть», – но не получается...

Горестно смотрела я, подперев щеку, на взволнованного Пашу и ясно видела, что являюсь для него отличным представителем среднего пола, – будто и не было никогда клятв над Финским заливом, следов от поцелуев на шее, пронзительных прощальных взглядов... Да полноте, были ли, с нами ли? Разве эта женщина и этот мужчина, ловко опрокидывающие рюмку за рюмкой, оба заматеревшие, – ни ее девушкой не назовут, ни его молодым человеком – разве это те же два трепетных подростка, сплетавшие в мороз горячие пальцы без варежек? Страшно это. Когда рассказывают про себя самого, например, шестнадцатилетнего: «Я сказал, я увидел...» – на самом деле про того свежего ребенка говорят, а не про бородатого дядю. А то дитя – его нет больше: умерло, переродилось, как бабочка из куколки... Куколка – разве то же, что и бабочка, хотя она, яснокрылая, могла бы сказать, если б умела говорить и думать: «Когда я лежала в...» (где там куколки лежат?). Да разве это она лежала?

Глупо мне было бы цепляться за то, что ушло безвозвратно двадцать лет назад, даже несолидно: следовало вести себя по-умному, по-взрослому, снисходительно успокаивать тревожного бесполого друга: «Ну, мало ли, о чем задумалась, может, о дочери – откуда ты знаешь? Что по телефону голос странный – так об этом вообще забудь: телефон – самая ненадежная вещь в мире. Разговор скомкала – так может, у нее молоко убежало... А что ей мужской голос звонил – так извини, ты что, абрек, что ли? Не на цепь же ее сажать, она журналистка, привыкай к широкому кругу общения... А уж как она там посмотрела – так сразу надо было спрашивать, что женщине надо, а то вдруг она по нужде хотела, а сказать стеснялась?».

Видела Агату несколько раз и я, и не избежала изнанки, то есть, разговора о Паше. Но не было у нее лихорадочного блеска в потемневших глазах, она как будто даже худела без всякой диеты – точила, грызла ее изнутри с трудом изживаемая любовь, не желала покинуть теплый угол в захваченной душе, уступить его любви другого качества, враз изменившей бы и всю душу. Агату не тревожили мелочи вроде взглядов и намеков – меня поразила ее неизменная готовность к новому поражению, даже прямая подставленность под возможный удар. Она, вроде бы, и радовалась входящему в ее жизнь новому чувству, но как о чем-то само собой разумеющемся говорила о его неизбежном крахе:

- Вчера по делам занесло меня в район, где Паша живет. Иду и думаю: вот, через пару лет опять случайно здесь пройду и вспомню, что вон в том доме живет Паша, с которым все так красиво было...

Я удивилась почти до возмущения:

- Агата! Зачем ты говоришь так, будто не бывает по-другому! Словно ваше расставание уже решено! Ведь все у вас хорошо, он в тебя влюблен без памяти – зачем ты сама себе кличешь беду?!

Агата бросила на меня изумленный взгляд (мы шли с ней рядышком по внутреннему бульвару, по мокрому бурому ковру опавших листьев):

- А разве может быть иначе? – убежденно произнесла она. – Все ведь кончается. И это кончится. А как же?

Я просто обомлела: передо мной стоял человек, без всякого надрыва и, по-видимому, давно похоронивший любые надежды. Почти крикнула ей:

- Как?! А как у людей бывает?! Полюбили друг друга, поженились, стали неразлучны, а потом и детей родили... Состарились вместе и умерли в один день!!

Агата принужденно рассмеялась:

- Ну, ты скажешь... И придумать же такое! У меня семья. Какое там замужество, когда дочь еще поднимать и поднимать, на ноги ставить, мать больная... Надо же выдумала – умрем в один день...

- Слушай! – трезво рассудила я. – Миллионы женщин с детьми выходят замуж второй раз и растят их вместе с мужем. И мать тут ни при чем – она только обрадуется счастью дочери. Не громози ты сложностей там, где их нет! Пашка хороший мужик, надежный и... денежный, кстати...

Агата пожала плечами, и на лице ее отразилось некое непробиваемое выражение.

- Спасибо, – сухо сказала она. – Пыталась уже. И вспоминать не хочется...

Близкой подругой Агата мне не была – лишь симпатичной приятельницей. Особых прав, даваемых дружбой, я на нее не имела, поэтому и не настаивала на своем, мельком подумав лишь: «Не зря Пашка мечется. Роль ему эта женщина отвела незавидную. А впрочем, кто знает, может, она отгадет, передумает...».

Не мое, в конце концов, было дело: слишком уж сильно начала я уставать от всей этой непрошенной истории. Пора было потихоньку отколупывать лишний нарост, приставший к жизни, как всякий подводный сор и ракушки к килю корабля. Удалению подлежала ненужная больше Даша с ее никчемной кампанией, глупо вынырнувший из прошлого не в то время и не в том месте Павел Волынский, и уж тем более Агата – вообще случайная бабочка, залетевшая в одинокое окно; Олега с его незадачливой редакцией я уже отсекала навеки. У меня начиналась новая и интересная, как я надеялась, жизнь, в нее следовало входить, слегка почистив перышки и умывшись талой водой. С неделю я односложно отвечала им всем в трубку, изо всех сил давая понять, как я оглушительно занята и как мне неинтересны их разговоры, – и действительно, их назойливое присутствие в моей жизни столкнулось с мертвой точкой и вяло покатило в направлении небытия.

*

Я не рассчитывала увидеть кого-нибудь из них еще раз, и даже когда чей-то образ контрабандой проникал мне в сознание, я прикладывала усилие, чтобы сразу же стереть его, не позволив задержаться и на лишний миг. Я упорно гнала от себя внутренние вопросы на тему: «Как там они – встречаются или нет?» – и воспоминания обо всех этих людях являлись каждый раз все менее объемными и все утрачивали и утрачивали жизненность, пока не превратились в размытые бесцветные тени на задворках моего бытия, тем более что неизбежные новые впечатления слой за слоем ложились на них каждый день.

В ту ночь, по-глупому проколовшись и упустив что-то, казалось, заподозривший объект, я, несмотря ни на что, поднималась к себе домой по лестнице в довольно терпимом настроении. Новая работа оказалась не настолько в тягость, как старая, ноги удалось не промочить, потому что из казенной машины я так и не вылезла, а в холодильнике ждал отличный кусок свинины, который осталось лишь кинуть в гриль, вытащить и съесть – а потом весело спать, спать, спать на сытый желудок... Ну, а объект и завтра никуда не денется...

Завернув на свой пролет, я вскрикнула: на подоконнике спиной ко мне сидел кто-то в длинном пальто с поднятым капюшоном – и при звуке моих шагов он начал медленно и оттого страшно оборачиваться. Обернулся – и оказался Агатой, вновь не с первого взгляда узнаваемой. Во-первых, лицо ее было сплошь пятнистым и отечным, как после долгих

обильных слез, а во-вторых, эта выраженная интеллектуалка была вульгарно и невозможно пьяна. Я отпрянула, мысленно прокляв ее в первую очередь за то, что она лишила меня чудного, весь вечер в темной машине предвкушаемого ночного бессонного часа в тепле и относительном покое. Вторым моим чувством стало недоумение: зачем? Зачем она, имея довольно широкий круг знакомых, что ей гораздо ближе и по душе, и по месту жительства, притащилась пьяная именно сюда – со своими скучными, отжившими во мне проблемами, чтобы навязать их постороннему человеку? И деваться было совершенно некуда: в самом деле, не в вытрезвитель же ее сдавать – значит, придется возиться... Все эти мысли галопом проскакали в голове, пока я наблюдала, как Агата довершает оборот, сквозь свой личный туман опознает меня и силится подняться навстречу. Что-то неприятно агрессивное мелькнуло в ней – в похабно кривой улыбке, в нетрезвой нарочитости позы, непослушном, никак на нужный тон не попадающем голосе...

- Ну, что, дождалась? Дождалась своего счастья, а? Дождала-ась, Пинкертонша хренова... Теперь, глядишь, и медаль дадут... – пьяно, но неожиданно связно заговорила она.

Испытывая некоторое отвращение, я по неискоренимой привычке крепко взяла ее за плечо:

- Пойдем, я уложу тебя проспать.

- На том свете проспуюсь, – странно легко вырвалась она. – Или на нарах... Вызывай давай... Вызывай свой обезьянник на колесах. И можете грузить... Загружать... Давай, вызывай, чего стоишь! – и она начала похохатывать тем странным смехом, какой бывает, когда человек хочет не смеяться, а кричать вперемешку с сухими рыданиями.

- Хватит! – ощерилась я, зная, что твердость в данной ситуации – единственное верное средство сократить нервотрепку. – Либо заходи ко мне и ложись спать, либо убирайся. Мне тут в четыре часа утра возиться с тобой не резон.

- Бо-оже, как гро-озно! – ничуть не смутилась она. – Вот дура, ей счастье само в руки прет, а она кобенится... Каждый день тебе, что ли, в тяжких преступлениях сознаются?

- В каких преступлениях? – мгновенно насторожилась я.

- Да в поджогах там всяких, например... В убийствах... – и слезы вдруг разом хлынули ей на щеки двумя небольшими водопадками.

- Что ты несешь! Не ври! – сраженная внезапным прозрением, я не придумала в этот миг ничего лучше.

- Да я, я, не сомневайся! – не то рыдала, не то хохотала Агата.

У меня внезапно включился благоприобретенный рефлекс и, повинувшись ему, я метнулась к своей двери и ловко затолкала трясущуюся и неожиданно чугунно тяжелую женщину в квартиру. У двери в прихожей она грохнулась в кресло неподъемной массой, и мне сразу стало ясно, что вынуть ее оттуда до утра не удастся, и все ее неотложные откровения слушать я буду именно здесь, на площади два квадратных метра. Агата запрокинула голову и жестко оскалилась, вообще утратив похожесть на саму себя.

А потом она начала говорить – говорить вещи странные и нелогичные, которые следовало бы списать на ее неменяемое состояние. Но непостижимым образом где-то в самой сердцевине моей отдельно от меня самой мыслившей души сложились в безошибочную картину ранее неосознанные составляющие Агатино бытия – и я начала верить ей абсолютно, верить с первых же слов и, что удивительно, – сочувствовать. У меня даже не возникало явных вопросов, потому что ответы на те, что гипотетически могли бы возникнуть, приходили парадоксально раньше самих вопросов. И я слушала, стоя над Агатой в странной полусогбенной позе, – слушала и верила...

- Ты думаешь, я каяться пришла? – медленным чужим голосом говорила она, непривычно растягивая слова. – А вот и нет – и не жалею ни о чем ни минуты... Я пришла, потому что испугалась. Смешно, да? Испугалась, когда уже нечего бояться, когда даже ты, Пинкертонша... Самая умная из всех голов, об этом думавших, послала все

подальше... А ведь я шанс тебе давала! Отличный шанс – с крючком этим и скважиной... Специально... А ты не поняла... ничего не поняла, Пинкертона моя... Так что не тебя даже с мозгами твоими – сама себя я испугалась... *Потому что поняла, что обрадовалась.* Обрадовалась, что Лилька погибла, радуюсь с первого дня и по сейчас, и не похоже, что когда-нибудь перестану... Просто в том, что редакцию сожгла, я бы ни за что не призналась. И никто бы меня не вычислил – даже ты... А вот Лильку я правда убивать не собиралась и даже не знала, что она там... А как узнала, что она себе мозги вышибла – *и полчаса совестью не промучилась.* Не боролась с ней даже, с совестью, сразу рукой махнула, поняла, что бесполезно. И с тех пор хожу я *счастливая*, потому что за меня кто-то отомстил, а я, вроде бы, и не при чем. Но ведь это же – ненормально... Ненормально радоваться, когда помирает двадцатилетняя девка – *для этого же выродком надо быть.* Вот именно: вы-род-ком. И это *она меня родила. Вы-родила...* Нежный мой удав... Ласковая моя крокодилица... Исключительная моя мамулечка... Знаешь, хоть бы она меня раз обругала... Ударила, что ли... Как это было бы естественно! А она – прямо в душе у меня поселилась... Окопалась... Гиперлюбовь развела – да такую, что и взгляд в сторону считался предательством... И любовью меня всю жизнь дубасила... Знаешь, как это страшно, когда тебя твоей любовью шантажируют? Когда ты все время ходишь, как по проволоке, потому что шаг вправо-влево – нет, тебя не погубит... А сделает палачом... И все время ты ходишь и думаешь, ходишь и думаешь – не взглянуть бы как-нибудь не так! Слово какое-нибудь неоднозначное не ляпнуть – потом не отмоешься... Ты думаешь, она меня любит? Эльку любит? Черта с два! Она хочет, чтобы мы с Элькой вдвоем составляли ее счастье, каждую минуту! И знаешь, Эльке, сучке, нравится! Только и слышно с утра до ночи: бабулечка да бабулечка! И со мной разговаривает бабкиным тоном – строго так, знаешь, и серьезно – да требовательно как! Но вежливо и тихо... И та же укоризна в детском голосе: мол, крест у меня такой, мама непутевая попалась... Непутевая мать и непутевая дочь... Ребенка собственного я ни минуты не воспитывала... Потому что едва она заговорила, как стала второй моей матерью! *И уже вдвоем они принялись воспитывать меня.* А я оказалась – неподдающаяся... Жизнь личную построить, замуж выйти... Ага, сейчас, так мне и позволили! Поэтому, как школьница, бегала на свиданки, дома отмазы придумывала – лишь бы укоризны этой не видеть и не слышать... А уж с тех пор, как проклятые мобильники изобрели, – как на цепи хожу... Каждый полчаса звонок: ты где? что ты там делаешь? зачем тебе это надо? когда вернешься? поскорей нельзя? ты ведь понимаешь, как мы по тебе скучаем? Конечно, понимаю, ядрена вошь! Кто еще вокруг них двоих споет и спляшет? Подругу даже – что там мужика! – в дом привести не могу – сразу: что ты в ней нашла? зачем она нам? тебе что, с нами плохо? И вот, с Олегом вдруг завертелось – как в сказке, все по самому-самому серьезному... Он, небось, наплел, что, мол, легкое увлечение? Врет, потому что сам себя стыдится... А на самом деле, на брак всерьез намекал, с Элькой познакомиться рвался! Я не форсировала: спугнуть боялась, потому что он был – спасение мое! Я, правда, этого не осознавала, только чувствовала! Его не нужно было – приводить. К нему предстояло – уйти, с Элькой. Уйти в большую квартиру и самостоятельную жизнь. Без двух тревожных маминих глаз, провожающих каждый мой шаг! Я трепетала... Как лист трепетала, пылинки с него сдувала... Все желания исполняла... И вдруг – Лилечка! Цветочек... сраненький... И откуда только упала на мою голову! В первый день, как только она вошла и он ее увидел, у меня сердце сразу упало: каюк. Потому что рожа у него как стала в тот момент идиотской – да так и оставалась, пока Лилька не померла... Марина! Меня он просто – вычеркнул! Будто меня и не было! Будто ничего – никогда! – не было! И, главное, из-за кого?! Хоть бы из-за женщины! Какой-нибудь роковой соблазнительницы! А тут... Да таких же... раком до Москвы не переставить! По копейке пучок! А он на нее, как на икону, молится – и всех заставляет, ничего не стыдится! Не то, что замечания по работе ей сделать нельзя было – за косой взгляд в ее сторону выговаривал! «Почему это вы на нашу девочку так странно смотрите, ребенок смущается...». Марина, ты можешь представить,

что именно я чувствовала?! Ведь все у меня рухнуло – все, до самой последней надеждышки! Сначала убеждала себя, что блажь у него, седина в бороду... Потешится и вернется... Куда там! Сердце в раскаленный утюг превратилось... Я, поверишь ли, за город одна уезжала, в лес или в поле... Заходила подальше – и выла! Если б услышал кто – очоурился бы со страху... По часу выла, по два, по три... Выкручивало меня – думала, не переживу... А *эта* дома: что-то ты совсем мало нам внимания уделяешь, дочка... И губки – гузкой... Куриной... Кстати, представляешь, я грудки куриные люблю... с крылышком... Но *она* считает, что это самое полезное в cure, и одну половинку Эльке дает, а другую сама... жрет. Нет, она бы отдала мне, конечно, если б я попросила, но с таким лицом: для родной дочери ничего не жалко! Поэтому я уже пятнадцать лет притворяюсь, что люблю исключительно окорочка... Да, так о чем я... О гузке! А дома – вечная гузка, ха-ха! Я вообще соображать перестала, думала, что только одно меня успокоит: если я погашу эту Алькину тупую улыбочку! Хоть уколю его малость, раз уж нет шанса причинить такую же боль, как он мне! А как? Он же неуязвим! И она тоже... За ручку ходят, сволочи, а я каждый день помираю... Чтоб, думаю, сгорела проклятая газета – тогда хоть видеть бы его ежедневно не пришлось! Раз подумала, второй подумала, и вдруг: а что, и сгорит! И с тех пор, знаешь, я письма ему строчить перестала... С наслаждением перебирала способы поджога – да такого, чтоб на меня и тени не упало... Три недели думала – и надумала, просто до гениальности... Я тебе расскажу... Даже нарисую завтра... Оделась во все черное и пошла, дождь лил сплошной, как специально... Для отхода одолжила машину у подруги, которая к газете отношения не имеет... Поставила ее за два квартала, чтоб никакой связи... Все чисто – и вы ничего не нарыли, а на крюк вообще внимания не обратили... Идиоты. Будто крюки у каждой двери присобачены. А утром узнала про Лильку. Узнала и обрадовалась. *Потому и пришла, что если чужой смерти радуешься – значит, совсем конченный ты человек.* Конченный. Так что сажай меня, Марина, сажай, не сомневайся... А то я не выдержу и Олегу похвастаюсь, а он из меня кишки вынет. Не то, чтоб их очень было жалко, а *не хочу, чтобы именно он.* Другой бы – и глазом бы не моргнула – но не он... Понимаешь? Лучше уж к ментам... Те хоть просто посадят... Лет на пятнадцать...

- На пять, – машинально поправила я. – Убийство непреднамеренное, да и эту статью вообще могут не навесить, потому что ты не знала и не могла знать, что в помещении есть человек.

- Всего на пять?! – расстроилась еще пьяная Агата. – Жаль... Вернусь – еще маму родную застану.

Я подпрыгнула:

- А тебе что, ее не жалко?! И дочь свою не жалко?! А Пашу, наконец? Он же тебя любит! И ты его, как мне казалось!

- Этих? – подняла она брови в неподдельном удивлении. – Моих домашних бультерьеров? Шутишь, да? А Пашу... Да, жалко... Но уже не помочь... Ничему не помочь. Потому что после *той* радости любая другая не получится...

- Послушай, – присела я на корточки, легонько теряя ее. – В любом случае, в милицию не сейчас идти... А утром...

- ...проснусь и передумаю? Никогда, – вдруг совершенно трезвым голосом закончила Агата. – Это же мой последний шанс... на свободу.

И она правда не передумала. Утром была бледная, серьезная и, как оказалось, свой ночной монолог дословно помнившая. Поэтому все мои попытки отговорить или облегчить ее участь отклонила грустно и твердо. Единственное, на что согласилась, – это чтобы я пошла с нею в наше отделение, и то лишь потому, что опыта «сдаваться», как и подавляющее большинство граждан, не имела никакого.

В полдень тяжелого, мутного и жутковатого декабрьского дня – жутковатого тем, что, казалось, не прошло еще и утро, а уже начинает смеркаться – мы подошли с Агатой к

дежурному в моем бывшем отделении. Я сразу узнала в нем балагура и балбеса Митю и порадовалась, потому что с ним наименее мучительно было иметь дело.

- О, Маринка! – расцвел он в безответной улыбке.

- Это Агата Аркадьевна Нащокина, – без тени дружеских эмоций сообщила я. – Она пришла писать явку с повинной...

Даже в вестибюле было холодно, темновато и влажно, и я некстати заметила вдруг, что Агатино тонкое коричневое пальтишко сегодня совсем не по погоде...

Эпилог

Суд над Агатой состоялся довольно быстро, ввиду ее активной добровольной помощи следствию. Связей Олега не хватило для того, чтобы удушить ее в тюрьме, а моих – хватило, чтобы ее не заставили под пыткой подписать умышленное убийство. В суде Олег не здоровался со мной за то, что я не отдала в его руки виновницу гибели возлюбленной, – но, имея в виду мое милицейское прошлое, мстить мне за это не покушался. Агате вменили – и она согласилась – умышленный поджог, причинивший ущерб в крупном размере, и убийство по неосторожности. На суде она держалась со спокойным достоинством и получила свои семь лет строгого режима, не дрогнув и краешком губ. Мать ее не появлялась в суде и никогда не посещала дочь в следственном изоляторе. Только Эля однажды дождалась момента, когда ее маму вывели из здания суда к машине. Девочка с воплем рванулась было к ней, Агата схватилась за сердце, но конвоиры мгновенно прекратили чувствительную сцену.

В изоляторе мы навещали ее по очереди с Пашей. Ему удалось убедить Агату креститься, и она охотно согласилась, выбрав себе простонародное имя Агафья. Священник подарил ей маленькую Библию и молитвослов с Псалтирью. После осуждения Агату этапировали к месту отбывания наказания, и, прощаясь с нами, она строго-настрого запретила нам писать ей, слать посылки, навещать и вообще пытаться как-либо облегчать ее жизнь. За все это время Агата ни разу не плакала – наоборот, лицо ее выглядело гораздо более живым и одухотворенным, чем до тюрьмы. С нами она держалась вежливо, но суховато, и явно видно было, что она тяготится нашей заботой. Через решетку она попросила у Павла прощения за причиненные страдания – и он заплакал, а она улыбнулась.

Хлопоты об Агате и волнения незаметно сблизили нас с Пашей, и вскоре мы оба, давно переболев страстями на стороне, стали жить вместе. Спустя год, уже ожидая ребенка, поженились – круг замкнулся.

Я больше не работаю, готовясь к рождению малыша, но магазинчики моего мужа приносят небольшой стабильный доход – пока хватает, а там как Бог даст.

Об Агате мы никогда не разговариваем, а если вспоминаем – то каждый про себя.

2006 г.

Букино